

The background of the book cover is a vibrant, painterly illustration of a city street at night. In the foreground, a cobblestone street is depicted with various shades of blue, green, and yellow. A street lamp with a purple lantern hangs from a pole on the left. In the background, a large cathedral with a prominent golden dome and spire is visible against a dark, hazy sky. The overall style is expressive and colorful.

ЕЛЕНА РАДЕЦКАЯ

Финалист
литературной
премии
«Ясная поляна»
в номинации
«XXI век»

НЕТ ИМЕНИ ТЕБЕ

Елена Радецкая
Нет имени тебе...

«Издательство АСТ»

2014

Радецкая Е.

Нет имени тебе... / Е. Радецкая — «Издательство АСТ», 2014

ISBN 978-5-17-132957-0

Семейная сага на фоне Петербурга, таинственного и мистического, одновременно мрачного, но полного светлых надежд. «Нет имени тебе, весна, нет имени тебе, мой дальний», – стихотворные строки петербургского поэта Александра Блока. Главный лейтмотив истории – вечный поиск любви и обретение счастья с родственной душой. «Любовь не ищут, ее встречают», – делает мудрое замечание Муза, одна из главных героинь романа, но жизнь идет, проходит в ожидании любви, надежде... Роман – один из финалистов литературной премии «Ясная поляна» в номинации «XXI» век, уступивший место Гузель Яхиной и ее роману «Зулейха открывает глаза». «...ни житие – жизнь. И можно бы закричать от отчаяния, когда бы не такие книги. Жизнь низится, а литература высится над скучной бедностью жизни и спасает жизнь». Андрей Курбатов, литературный критик «Давно уже не было в нашей литературе таких пронзительных и нежных романов о любви. История трех женщин, кровно связанных друг с другом, история их взаимоотношений, непростых, болезненных, неудобных – не может не тронуть, не может не ранить». Виктория Платова, писательница «В книге пример идеальной любви, которую мы все ищем, ищем... И если она находит нас, то ничто над ней не властно: ни время, ни мнения, ни возраст...» Елена, ozon «Автор великолепно знает, любит и чувствует Петербург. Роман "Нет имени тебе..." – произведение зрелого мастера, которое может удовлетворить даже самый взыскательный литературный вкус». Отзыв читателя, Лабиринт.ру «Фантастическая, загадочная, невероятная книга! История трех женщин, их жизни, их судьбы, их мысли. История Музы – это история женщины сильной, прекрасной, но в то же время невероятно хрупкой и ранимой. Ее рассказ – как захватывающая книга, потрясает. История Любви – с одной стороны, ничем не примечательная, унылая, но внутри, как бриллиант, ее душа – ранимая, тонкая, которая жаждет любви, страдает от непонимания дочери, проблем с мужем и матерью. И, наконец, Маша – потерянная, юная, одинокая девочка,

которая в свои двадцать – видела многое, многое о жизни знает. Она рано повзрослела, и уже никому не верит. История отношений матерей и дочерей, сложных, иногда непримиримых, противоречивых, когда неясно, чего же в них больше – любви или ненависти. Такие книги нельзя пропускать мимо, их необходимо читать!» Читатель, Литрес

ISBN 978-5-17-132957-0

© Радецкая Е., 2014
© Издательство АСТ, 2014

Содержание

Часть первая. Муза	7
1	7
2	10
3	15
4	20
5	23
6	27
7	30
8	31
9	35
10	37
11	40
12	45
13	50
14	53
15	57
16	60
17	64
18	67
19	69
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Елена Радецкая Нет имени тебе...

© Елена Матвеева

* * *

Часть первая. Муза

1

С трудом разлепила веки и увидела белый свет. Низкое, рыхлое, облачное небо. Потом поняла – не небо, а потолок. И только успела подумать об этом, надо мной нависло чье-то лицо, смутное, бледное, как не прожаренная оладья. Рассмотреть его не могла, черты расплывались.

Кто-то сказал: «Она открыла глаза».

Кто-то другой уточнил: «Глаза открыла, но не в себе».

Голоса звучали отдаленно, будто уши забиты ватными тампонами. Однако я определенно была в себе, мысли не путались, хотя голова – чугунная. На лбу у меня лежала мокрая тряпка, от нее по телу растекался холод, Иван Иванович Ознобишкин, как говорила моя мама.

– Накрой ее и сделай грелку к ногам, – велел тонкий надтреснутый голос.

Я догадывалась, что нахожусь в больнице, но не представляла, как здесь очутилась. Зато я помнила все, что было перед тем: заветная арка во двор, которую я долго и упорно искала, а нашла случайно. Я вхожу в подворотню, и что-то страшное, гибельное, вроде аркана, молнией мелькает перед глазами. Рывком бросаюсь вперед, и... черный полумесяц отсекает мне голову. Все случилось мгновенно. Панический животный ужас, нестерпимая боль и спасительная тьма, куда я проваливаюсь. И вот теперь выясняется: голова моя на месте, правда, в очень плохом состоянии.

Накрыли меня чем-то тяжелым, но это не уняло Ознобишкина, а грелку так и не принесли. Накатывали приступы тошноты, и очень болело горло. Сделала попытку сглотнуть слюну, не получилось.

– Можете говорить?

Чтобы узнать, могу ли говорить, требовалась проверка, на которую не было сил, и я закрыла глаза.

– Опять впала в беспамятство, – прозвучал далекий голос.

Никуда я не впала, просто мне было очень плохо. Я догадывалась: меня пытались задушить. А может, я под машину попала? Хотя вряд ли, не было там никаких машин. И теперь мне почему-то казалось, что, войдя под арку, я слышала за спиной шаги. Тогда я, конечно, не обратила на это никакого внимания...

В глубине души жила мысль, что ничего непоправимого не произошло, я выкарабкаюсь, и сейчас лучше бы не вспоминать и не думать ни о чем, а спать, пока не полегчает. Это единственный способ восстановиться. Но отделаться от мыслей не удалось, они возвращались. Снова подворотня. Шаги за спиной. А перед тем я бегу за Додиком, а он ускользает.

Додик! Он подстерег меня и пытался душить?! Что за глупости?! Да был ли вообще Додик?

И тут я поняла, что меня сейчас вырвет.

Кто-то заорал: «Палашка!»

Не могла сообразить, что значит «палашка». Плашка, плаха, палаш, параша, парашка...

– Повыше ей голову задери, захлебнется! Да не так! Под затылок, дура, держи!

Отвратительно! Дребезжащий голос раскалывал мою бедную голову, но тут я, к счастью, отключилась и при дальнейшем не присутствовала.

Наверное, я все же бредила, а может быть, это был сон, отрывочный, смахивающий на кошмар. В мохнатой фиолетово-синей тьме покачивались перевернутые часы, настенные, в прямоугольном футляре, обрамленном точеными колонками – незамысловатым изделием токарного ремесла. Перевернутое время меня приводило в ужас, особенно вставший дыбом и

совершавший мерное качание маятник. Несмотря на то, что он был заключен в ящик, закрытый стеклом, отдаленно он ассоциировался с секирой, гильотиной или с чем-то, отрубаящим голову. А еще я пыталась и не могла рассмотреть на полустертом циферблате, который час. Любопытно, что там, в бреду или в кошмарном сне, я опознала эти часы – часы Марка Шагала!

Потом страшные кривые шагаловские улицы, грязные и темные. Витебск? Косые домишки с подслеповатыми оконцами, крылечками, уродливыми вывесками, и шествие странно гримасничавших, кривлявшихся, пританцовывавших раскорякой и гомонящих людей. Там была невеста под фатой со зловещим выражением лица, с крючковатым носом. Белое мятое платье странным образом спустилось с плеча и вывалилась длинная дряблая грудь. Я была среди них, меня толкали, пинали, наступали на подол платья, в общей какофонии я слышала треск рвущейся материи. Меня куда-то несло этим адским потоком, а потом повалило в грязь. По мне шли, на мне танцевали, притопывая, пока кто-то не споткнулся, и вот уже груда барахтающихся потных тел воздвиглась надо мной, и воздуха не осталось. Я кричала, пока могла. Я не верила, что все это происходит со мной, я жаждала проснуться. Не знаю, сколько времени длились муки, но пробуждение настало – во сне.

Из грязных, вонючих, копошащихся, как черви, тел меня кто-то поднял и бережно обнял. Я разглядывала его и не могла разглядеть, это был незнакомый мужчина, но как будто бы я знала его всю свою жизнь, так сладко и покойно было у него на груди. Это был *мой мужчина, единственный*, и не требовалось говорить, как долго я ждала его и искала, он и так все знал. Мы были похожи на влюбленных Шагала, для которых в объятии начало и конец света. Возможно, я его целовала. А как не целовать после долгого расставания, длившегося вечность. Это не был эротический сон, какая эротика в моем состоянии? Ничего эротического. И все же... Если только самую малость...

Во сне я поняла, что просыпаюсь, и на этот раз совсем по-другому, возвращаясь из объятий возлюбленного к болезни, белому потолку и надтреснутому голосу. Я сопротивлялась всеми силами, пыталась задержать своего мужчину, потому что расстаться с ним, едва найдя, было невыносимо. Я цеплялась за него, первую и последнюю мою надежду, а он таял и таял, пока не исчез. Окончательно утратив его, я пыталась вернуть и запечатать в памяти образ, но лица вспомнить не могла, осталось лишь ощущение тела, тепла, его руки, плечи.

Невыносимая печаль. Но наша встреча, пусть даже в сновидении, была живительна. Кажется, мне даже полегчало. Я чувствовала, что холодной мокрой тряпки на моем лбу нет, правда, лицо – мокрое, от слез. Снова белый потолок. По центру странный светильник, что-то антикварное. А еще прорисовалось лицо: бледное, с глубокими кукольными полукружьями век, легкими бровями, узким длинным носом с чуткими ноздрями, выпуклыми скулами, впалыми щеками и тонкими губами. Была в этом лице чуть уловимая асимметрия, что делало его даже по-своему красивым, впрочем, скорее интересным, примечательным, и немного болезненным. Змеящиеся губы произнесли:

– Очнулись?

И хотя ничего, кроме лица, я не видела, меня тут же осенило: горбунья!

Дребезжащий голос принадлежал ей.

– Ты можешь говорить? – спросил низкий с хрипотцой голос. Я перевела глаза и словно возвратилась в свой кошмар: разбойничье мужское лицо, обрамленное рюшем чепчика.

– Не смейте мне тыкать! – возмутилась я и не узнала своего шипящего бормотания. Говорить я могла, хотя и с большим трудом. – Мы с вами вместе гусей не пасли.

– Гусей? Каких гусей? – опешило существо в чепчике. Это был не мужчина, а старая карга!

Коров, гусей... Какая разница?.. Главное, она опешила и буркнула: «Не понимаю вас...» Вот так-то лучше.

Желая показать, что разговор закончен, снова закрыла глаза. Оказалось, я несколько преувеличила улучшение своего состояния: в мозгу работала целая бригада жуков-точильщиков, бурильщиков, сверлильщиков, пропади все пропадом. Я хотела погрузиться в сон, боясь перевернутого маятника-секиры и темного, опасного предместья, но надеясь на встречу с любимым. Если бы встреча состоялась, я согласилась бы улететь с ним, как на той картине, где Шагал с любимой летят над городом, даже не летят, а плывут по небу, причем он держит ее, будто спасает утопавшую, уже спас, и они отдыхают в несущем воздушном потоке. Им ничего не грозит в этом пространстве.

Заснуть не получалось. Мое ужасное состояние усугублял внешний дискомфорт: от меня несло блевотиной. И вдруг я подумала: какие странные люди вокруг, и горбунья, и старуха, и белых халатов ни на ком нет. И, кажется, лежу я без постельного белья на продавленном диване, меня даже не раздели, я все еще в бальном платье с полуголой грудью. И вообще все окружающее, я нутром чужая, мало похоже на приемный покой или больничную палату. Это можно было понять даже с закрытыми глазами – по запаху. Сначала душат, а потом я оказываюсь в каком-то непонятном месте... В заложницы меня брать – не та я персона. Если только с кем-то не перепутали...

Но я полгода ни с кем не общалась. Только с Додиком... Так ли он безобиден, богемный мальчик?

2

Двадцать седьмого мая, в день рождения града Петрова, я отправилась на Невский, чтобы посмотреть на карнавал. Военные оркестры гремели маршами, а потом грянули «Оду к радости» из девятой симфонии Бетховена. Радости – хоть отбавляй. Флаги, гирлянды, цветной дым, раскрашенные лица. Небо в горошек от воздушных шаров. Девочки с зонтиками, голыми животиками и пушистыми помпонами на кистях рук и лодыжках, мальчишки с зенитовской символикой, дикари с там-тамами и ослик, дующий в тромбон. На платформах танцуют бразильянки в оборчатых юбках, принимают грациозно-жеманные позы коломбины с арлекинами, кувыркаются клоуны, роятся ангелы. Маршируют суворовцы и нахимовцы. Идут охотники в старинных костюмах с борзыми на поводках и соколами на руке. Ползет экскаватор, оформленный под слона, а в ковше его кувыркаются маленькие слонятки. Слонов много, и это понятно, ведь Россия – родина слонов, а Петербург, так уж исторически сложилось, город слонов. И надо всей этой красочной массой, на верхотуре машины с подъемным механизмом, стоит Петр Великий, простирающий длань, которая прорубила окно в Европу.

Кто-то мне сообщил, что прокат костюма стоит 100 евро, но на Невском – дешевле. Брать напрокат костюм я не собиралась, и стало вдруг почему-то скучно, я почувствовала себя одинокой. Вот тогда меня и окликнул Додик, и я очень обрадовалась. Как мгновенно все изменилось, как мало нужно для того, чтобы ощутить вкус к жизни.

Додик (в то время он был для меня не Додиком, а Максом) показывает на карету, запряженную шестеркой лошадей, вокруг которой прыгают юнцы в ливреях и намазанные гримом дети-арапчата, а из окна, чуть не вываливаясь, машет рукой неказистая особа в белом парике.

– У каждого района своя карнавальная тема, но в каждом есть своя Екатерина Великая. Потом будет конкурс, и жюри выберет лучшую. Хочешь быть лучшей? – спрашивает Макс. – Я одену тебя в такой костюм, какого ни у кого не будет!

– Сначала разденешь, а потом оденешь?

Он смеется, и мы направляемся к Садовой в театральные мастерские, где он, якобы, а может, и вправду, главный художник. И без того узкий тротуар перегораживает щит с рекламой освежающего напитка: «Утолитель желаний».

– Это я – утолитель желаний, – веселится Додик. – Хочешь меня?

– Моих желаний ты утолить не в силах.

– Прежде, чем говорить, попробуй!

– И попробовать нечего! И так знаю!

Я тоже смеюсь, кокетничаю, на меня действует жаркий день, яркое солнце, праздник и музыка, доносящаяся с Невского, и, что уж скрывать, меня волнует красивый парень, который, словно невзначай, то за талию обнимет, то за плечи, то к руке прикоснется. Он не без обаяния и, возможно, не бездарь. Любитель распустить хвост. Хочет казаться интеллектуалом, уверенным в себе мужчиной, значительным, светским, и девочки на это, наверняка, покупаются. Я не знаю, сколько ему, подозреваю, он лет на десять моложе меня. Говорит, закончил сценографию в Театральном. Год-два назад? И уже главный художник? Уж очень несолидно он выглядит.

Свернули в переулок, перешли канал Грибоедова, а там петляли обшарпанными дворами, он сказал, что срезаем дорогу. Большую часть одного двора занимал помойный бак размером с танк, из которого при нашем приближении со страшным шумом вылетела целая стая голубей. Второй двор-колодец был завален картонными коробками и магазинным мусором. Окна пыльные, неживые, хотя за некоторыми виднелись и горшки с цветами, и помидорная рассада. Кругом никого. Эта трущобная декорация меня насторожила. И тут мы оказались возле крыльца в три каменные, стертые ступеньки, с погнутым металлическим перильцем, и я, к сво-

ему облегчению, увидела рядом с дверью таблички, и удостоверилась, что здесь, среди разных организаций, действительно находятся и театральные мастерские.

Макс нажал кнопку звонка, открыла вахтерша и сообщила, что мастерская открыта. Мы поднимались по неухоженной лестнице на четвертый этаж, когда навстречу порхнула девица. Она окинула нас быстрым взглядом и с ехидной лукавинкой сказала: «Привет, Додик!», потрясла ключами и кинула их Максу. По ее веселому настроению не трудно было догадаться, о чем она подумала, увидев нас вместе. А Макс вспыхнул, неожиданная встреча не входила в его планы.

– Так кто же ты на самом деле? – спросила я, пока он открывал двери мастерской. – Макс или Додик?

С обиженным видом он потащил меня по коридорчику, заваленному реквизитом, к кабинету и указал на табличку: «Главный художник. Додолев Максим Всеволодович». Надо же...

В кабинете оскорбленный Додик показывал мне альбомы с фотографиями каких-то мероприятий, где он был запечатлен рядом с городской администрацией, что должно было удостоверить его личность. Конечно, аферистом он не был, он был Додиком – и этим все сказано, в меру обаятельным парнем, к которому я не могла относиться серьезно, и сотрудники, похоже, не испытывали к нему большого почтения. Пришлось пролистать целую кипу альбомов с фотографиями театральных спектаклей и праздников, с фигуристами и артистами, для которых мастерская делала костюмы и тряпичный реквизит, а также собственные Додиковы эскизы, и я вовсю их нахваливала, чтобы восстановить в нем чувство собственного достоинства.

Он приготовил кофе, потом мы обошли мастерские. В зале покачивались на сквозняке чудовищных размеров яблоко, груша, банан, помидор, арбуз, баклажан – обтянутые тканью каркасы. На перекладине висели расписанные флаги сказочных государств. Прошли по комнатам, где стояли столы, заваленные раскroенным тряпьем, гладильные доски с утюгами, стеллажи с отрезами, портновские манекены, шляпные болванки, вороха искусственных цветов, лент и перьев. Зеркала. Из одной комнатухи открывался замечательный вид на крыши. Они тянулись в разных направлениях, на разных уровнях, с ребрами и желобками, кирпичными трубами, увенчанными жестяными коронками, с мансардными и слуховыми окнами, решетками по краю, антеннами. Сбоку выглядывала пузатая башня, а на переднем плане на невысоком доме прилепился обшарпанный фронтонок, обрамленный волютами, с круглым окошком без стекла. И эта разномастная толчея крыш была на удивление гармонична и не случайна, словно оконная рама была рамой картины.

Если бы я была художницей, я бы это нарисовала.

Для нынешнего праздника мастерские не делали ни одного костюма Екатерины, но такой они приготовили для спектакля «Малахитовая шкатулка». Пока Додик ходил за ним, я рассматривала перчатки, трогала дорогие ткани, примерила несколько шляпок, запустила руку в обувную коробку, полную стразов и просеяла их сквозь пальцы. Прямо на полу была навалена воздушная гора разноцветных юбок, а на вешалках висели дивные наряды.

Одно с пышной юбкой, узкими рукавами до локтя и многослойными кружевными манжетами, в гирляндах, бантах и букетиках так заморозило меня, что я скинула все, кроме трусов, и напялила его. Платье было как раз по мне. Мадам Помпадур да и только. Карнавальная пастушка. Не хватало разве что посоха, перевитого розами. Справиться с молнией не успела, появился Додик с грудой тряпья на вытянутых руках, да так и застыл на пороге. Я осталась довольна произведенным эффектом.

– Застегни молнию.

Повернулась к нему спиной и услышала шуршание ткани: Додик выронил облачение Екатерины Великой. Молча, непослушными пальцами, он начал застегивать молнию, но она не поддавалась, и руки его скользнули по спине к груди. Он прижался ко мне, дрожал, словно пят-

надцатилетний подросток, и меня прожгло током внезапного и острого желания. Мы лихорадочно пытались освободиться от платья, но никак не могли стащить с рук узкие рукава, потому что одновременно обнимались, задыхались от поцелуев, а я к тому же пыталась расстегивать ему рубашку и брючный ремень. Трещала рвущаяся ткань платья, мы сопели и пыхтели, как бегемоты. Споткнувшись о кучу разноцветных юбок, рухнули в нее и потонули в ворохе тряпья, и уже не пытались снять платье, теперь нам ничто не могло помешать. Только быстрее, быстрее!.. Наконец-то!.. И тут все закончилось.

Щеку нежно царапала тонкая жесткая материя, на которой я лежала, а еще я видела окно и голубя, он прохаживался по подоконнику и заглядывал в комнату.

И попутал же черт!

Я уже собиралась спросить, не намерен ли Додик заснуть на мне, но он отвалился, а я одернула юбку, и совсем некстати меня одолел смех. Перевернулась на живот и впиалась зубами в ткань, но скрыть сдавленное хрюканье не удавалось. Смеялась я над собой, и над этой дурацкой ситуацией, в которую попала. Додика обидеть не хотела, но кто сказал, что скорбное молчание в подобный момент пристойнее веселья.

– Мы с тобой... – пыталась я говорить сквозь смех, ласково похлопывая его по плечу, – мы с тобой... сплеться, как пара змей... обнявшись крепче двух друзей... упали разом...

Он тоже попробовал хохотнуть.

Где ж твоя былая самоуверенность, мальчик? Стало его жалко. Погладил меня по шее, по плечу, по груди, похоже, собирался реабилитироваться. О, боже... Ничего ровным счетом мне уже не хотелось. Закрывает глаза. Открывает. Встала, без труда сняла платье. Опустилась в грудь юбок, медленно притянула его к себе и стала осторожно целовать и ласкать.

Неуклюжий, неловкий, как железный дровосек, в его руках не устроиться, не угнездиться. Отбарабанил свое и, кажется, доволен, даже горд. Старался, как мог. Наверное, зеленым девицам, вроде той, что встретила на лестнице, понравилось бы. Впрочем, кому ж такое понравится... Ему нужна учеба, вот только учительницей его я становиться не собиралась.

– Ну, как? – спросил с надеждой.

– Что как?

– Как тебе?

– Все лучше и лучше, – говорю, и мы смеемся.

Потом Додик сидит на полу, удрученно рассматривая платье, которое мы с ожесточением пытались сорвать с меня, и наконец, потрянув головой, заявляет:

– Плевать, девчонки зашьют.

Я расчесываю свою гриву с бронзовым отливом, и ее пронизывают солнечные лучи.

– Ой! – восклицает Додик. – У тебя ж изумрудные искры в волосах! Ей-богу! Подними-ка их расческой... Ни фиги себе!

Когда-то это подметил мой покойный муж, но о нем я вспоминать не хотела.

– И где же императорское платье? – спрашиваю.

– Полный облом, – сконфуженно говорит Додик. – Видимо, отвезли заказчику. Вот единственное, что обнаружил...

Я рассматриваю воздушное чудо с юбкой на кринолине, с широкими кружевными оборками, розовое с фиолетовым. Он обряжает меня с явным удовольствием, перевязывает лентой через плечо, привешивает бант с брошью и утверждает, что это звезда ордена Екатерины, хотя и намек на звезду в ней нет. На плечах и спине закрепляет мантию, отороченную горностаем. На шею надевает жемчужное ожерелье, на голову диадему с жемчугом. Крупная каплевидная жемчужина висит надо лбом. Потом оглядывает меня, хватается за голову и болезненно морщится.

– Ни на что не похоже, – говорит он, пока я верчусь перед зеркалом. – Винегрет какой-то. Это платье сшито для «Дамы с камелиями».

– Неужели? А, по-моему, неплохо. – Я пускаюсь вальсировать, напевая из «Травиаты»: – Высоко поднимем все кубок веселья ля-ля, ляли-ляли-ля, ляли-ляли-ля, ляли-ляли-ля, ля-ля!

Додик начинает хохотать.

– Ты прелесть! – восклицает он. – А вообще мне в голову пришли три клевых мысли. Первая: не наряд тебя украшает, а ты его. Вторая: это всего лишь карнавал. Третья: никто ничего не понимает. Ты видела этих императриц? Спорим, никто не заметит, что твое платье на сто лет старше Екатерины Великой? Давай проверим?

Мантия тяжелая, такое впечатление, будто она сползает вниз вместе с платьем. Если в один прекрасный момент я окажусь с голой грудью, тогда мне точно дадут первую премию. Додик поправляет мантию и внезапно весьма ловко проникает под лиф, а когда я освобождаюсь от его рук, ныряет под юбку.

Черт возьми! Он не безнадёжен, игривый мальчик!

Мы идем по каналу. За Додиком вьется длинный шифоновый, вручную расписанный, шарф. Меня провожают любопытными взглядами, приветствуют, шутливо заговаривают, а одна мамаша велит ребенку подарить мне ветку сирени.

Невский по-прежнему запружен бесконечной кавалькадой. Колонну полуголых девочек в перьях сменяет группа белых медведей и какие-то фантастические существа. Интересно, что и в этом круговороте я не потерялась, и здесь на меня направлены взоры, но, конечно, не столь восторженные: одно дело толкаться в костюмированной массе, другое – выступать соло. Честно говоря, я уже удовлетворила свое тщеславие. Мы пропускаем медленно ползущую «Аврору» на длинном транспорте. На ее фанерном борту приплясывают матросики, на носу стоят адмиралы. В толпе слышно: «Смотрите, Екатерина-девочка!» В открытой машине едет мужчина в шитом золотом кафтане и белом парике, на руках у него малютка, в длинном платье. Как и мое, оно не блещет чистотой стиля.

Под гнетом мантии я начала потеть, мучила жажда. Сказала, что хочу «Утолителя желаний», что вызвало двусмысленные намеки и предложение вернуться в мастерскую: ларьки и кафе на Невском на время карнавального шествия закрыты. А еще Додик не без смущения заметил, что его беспокоит мысль о конкурсе, я свела его с ума, иначе он бы сообразил, что победительница была изначально известна, все продано и все куплено, и напрасно он втянул меня в эту авантюру. На конкурс я плевала, а в мастерскую больше не хотела.

– На Садовой, рядом с Гороховой, есть приятное арт-кафе, сейчас там наверняка пусто.

Это предложение мне понравилось. И тут глупая случайность. Додика окликнул знакомый, и он остановился, а меня закружила стайка клоунов в великанских цилиндрах и башмаках. Потом я металась меж зайчиков, Барби и какими-то придурками на ходулях, искала Додика, стояла на том месте, где мы расстались, а потом решила, что, потеряв меня, он вспомнил о договоренности идти в арт-кафе и направился туда, потому что другого места встречи не придумать.

Я пошла по набережной канала, где гулял ветерок, и собиралась уже свернуть в переулок, чтобы оказаться на Садовой, но тут мне почудилась, будто впереди, по другой стороне канала, идет Додик. Я крикнула, но он уже исчез в ближайшей улочке. Не будучи уверена, что это действительно он, все-таки добежала до моста, и на другом берегу устремилась туда, где он скрылся. Показалось, в конце квартала промелькнул его цветастый шарф. Теперь на меня смотрели не с былым восхищением, а, скорее, с любопытством: тяжело дышащая и обливаемая потом, подхватив тяжелую мантию и поддерживая раскачивающийся кринолин, я мчалась, как паровоз. Улочки были пустынные, я их не узнавала. Если такое случается в лесу, люди говорят: черти водят. Что-то подобное уже происходило со мной. Как заведенная, я гналась за фантомом, не в силах остановиться, хотя все яснее понимала, что, вероятнее всего, обозналась. Впрочем, сегодня я уже наделала столько глупостей, что еще одна не имела значения.

И вдруг я увидела этот домик с аркой, который безуспешно искала больше месяца. У меня оборвалось сердце. Не веря своим глазам, нырнула под арку, и в тот же момент шею мне захлестнула петля...

Неужели какой-то кретин-грабитель принял оторочку моей мантии за горностаю, а лже-жемчуга за настоящие?

Неожиданная мысль заставила меня выпростать руку и провести по шее и волосам. Жемчугов не было. И мантии тоже. И платья. Наконец-то удосужились переодеть меня в ночную рубашку. А я этого даже не заметила. Думаю, у меня сотрясение мозга.

3

В голове звон, но слышу и вижу хорошо. И то, что вижу, мне не нравится. Маскарад продолжается. Неужели все-таки Додик?

– Где я? – голос плохо слушается. – Где мантия и диадема?

– Мантию ей подавай! Я говорила, она актерка! – Мужиковатая старуха ко мне недоброжелательна.

– О чем вы? – говорит горбунья, не обращая внимания на старуху. И тут загомонили все сразу: «Она бредит?» «Потом обвинит тебя в воровстве!». «Она не из простых». «Я – Зинаида Ильинична Бакулаева». «Кто вы, где живете?»

Внезапно наваливается неодолимая усталость, разговаривать не хочу и не могу. Какие странные у них лица, как странно они одеты – горбунья, старая карга, пышная девица, рябая женщина с добрым выражением лица и голубыми глазами, которая поправляет мне подушку. Почему меня не отвезли в больницу? Кто такая Бакулаева? Может быть, мне известна эта фамилия?

Далекий голос старухи. Голоса горбуньи и рябой женщины. Спорят. Девица подвывает. От старухи исходит угроза. Горбунья и рябая – мои защитницы. Происходит нечто непонятное и, возможно, опасное. Но я все равно не могу что-либо сделать. Кроме одного. Вспомнить то, что было давно и недавно, чему я не придавала значения, не обратила внимания, прошла стороной... Надо вытащить что-то (не знаю что), запрятанное в подсознании. Всему этому существует объяснение! Зинаида Бакулаева?! Кто такая Бакулаева? Не помню! Никогда не слышала такой фамилии.

Всю зиму я была нездорова. Сначала грипп, потом – осложнение, а позже – сама не знаю что: слабость, мокрая от пота ночная рубашка, полное безразличие ко всему, даже больше – нежелание жить. Врач сказала – астения, депрессия. Когда-то я думала, что депрессия – плохое настроение, и те, кто на нее жалуется, кокетничают. Я не подозревала, что это тяжелая болезнь, когда жизнь теряет смысл, мир – краски, когда под ватным одеялом содрогаешься от беспричинного страха. Я всегда считала, что у меня отменное здоровье и крепкая психика, а вот ведь – сломалась. И не грипп, наверное, тому виной, не осложнение, а Юрий. Просто я не вынесла разрыва с ним и одиночества. Сначала держалась, старалась изо всех сил, а потом сломалась. Заурядная и пошлая история.

Перелом случился в конце марта, в тот день, когда мне приснился Валерка Спиркин. Он жил в нашем доме, на пятом этаже, и был в меня влюблен, а я всячески ему демонстрировала свое презрение. Он был длинным, нескладным, с оттопыренными ушами и носом уточкой. Давно это было, в детстве, а потом они куда-то переехали. Слышала, будто он стал всемирно известным ученым и живет за границей, но я его лет с двенадцати не видела и почти никогда не вспоминала. Разумеется, я не представляла, как он может теперь выглядеть, но я его сразу узнала!

Мы столкнулись на деревянном мосту с Петровского острова на Крестовский. Там было очень красиво: небо такое синее, аж зернистое, растительность пышная и таинственная. Невка с островками у бревенчатых быков моста и ледорезов. Эти отмели заросли деревьями и кустарником, тростником и яркими красно-фиолетовыми – мама называла этот оттенок фуксиновым – цветами на прямых стеблях, словно языками пламени. Я шла на Крестовский, а Валерка – оттуда. И он спросил: «А где твоя шапка?» «Какая шапка?» – не поняла я, и он объяснил: «Помнишь, у тебя была такая голубая, вязаная? Кажется, такие капорами называли...»

В явь весеннего бессолнечного утра я вернулась с трогательным до слез ощущением. У меня действительно была вязаная шапка, которую я ненавидела и в конце концов сожгла у помойки, а маме сказала, что она потерялась в школьной раздевалке.

Дурацкий сон перенес меня в детство. В ночной рубашке я поплелась к комоду и в бездонных его ящиках, среди папок с бумагами, рисунков, книжек и всякого барахла раскопала семейные альбомы, чтобы увидеть молодых папу и маму. Потом, утирая лицо тыльной стороной руки, я редела и рылась в бумагах, пока передо мной не выросла груда старых конвертов. Тут я заметила, что дрожу крупной дрожью, и с охалкой писем залезла под одеяло. Господи, какой знакомый, родной почерк, круглый, бисерный – отца! «Ненаглядная моя!» Тут я возобновила рыдания, потому что никто на свете, ни один мужчина, кроме отца, не называл меня так. «Сегодня проснулся, увидел на фотографии твою славную солнечную мордашку, и мне захотелось жить и радоваться. Жду не дождусь, когда увижу тебя наконец». Отец был очень нежный в отличие от мамы. Мама – скупая на ласку. Отец: «Солнышко ясное, радость моя!», «Кисанька!» И мама – косо летящими строчками: «Доча, слушайся бабушку и к моему приезду исправь, пожалуйста, тройку по математике. Приеду, проверю».

Скоро я устала и провалилась в сон, а на следующий день снова читала письма, вспоминала, плакала. Думала о Спиркине, как бы сложилась жизнь, если бы я вышла за него замуж? А еще мне захотелось узнать, что за цветы, похожие на язычки пламени, я видела в том сне, под мостом на Крестовский, как они назывались? Я еще не догадывалась, что с появлением Валерки Спиркина, с возвращением к своему детству и родителям, пошла на поправку.

Глянула в зеркало. Оттуда смотрело привидение: бледное, одутловатое лицо, тусклые волосы, мутные глаза. И это – я! Ужас какой-то! Нужно нормальное питание, воздух и жидкости поменьше, я слишком много пью. Перед тем, как уйти на работу, Любка принесла мне сардельки и гречневую кашу-размазню. Все это время она за мной ухаживала, кормила насильно, с ложки, когда я отказывалась есть. Но усердствует она не за спасибо, это – во-первых, а во-вторых, если бы ее не оказалось рядом, нашелся бы кто-то другой. А уж если бы за мной совсем некому было присмотреть, подозреваю, что так основательно не слегла бы. Так что умирать от благодарности к Любке я не собиралась, тем более я никак не могла найти бабушкины сережки с изумрудами, а взять их, кроме Любки, было некому.

Раньше вся наша квартира и соседняя (они были едины, это потом сделали капитальную стенку и два входа – с парадной и черной лестниц) принадлежала нашей семье. Правда, некоторые считают, что это было давно и неправда, но это правда, хотя и давняя. Здесь благополучно жили мои пращурсы, пока большевики не отобрали у них квартиру и все остальное. Теперь из всей квартиры, занимавшей половину этажа, мне принадлежит одна комната в трехкомнатной квартире, а из всех Андреевых-Казачинских ныне осталась одна я. Конечно, не Любка отобрала у моих предков жилплощадь, но поскольку квартиру я считала «нашей», а Любка была «пришлая», иногда мне казалось, что она из тех, «захватчиков». Я из «этих», она из «тех». Она другой породы. Я не знаю, чем она живет. Бегом на работу и с работы, угрюмая, сумки продуктов, глаза в асфальт. Интересно, знает ли она, что вырезано в камне над подъездом? Там, в обрамлении современных, певуче изогнутых листьев латинское «salve».

«Здравствуй!» – говорит мой дом, встречая меня, и какая бы усталая я не была, я ободряюсь и отвечаю ему: «Здравствуй!»

Любка – бесцветная и безрадостная ханжа, все время что-то моет, подтирает, стирает, варит (как будто для молодой одинокой женщины нет других занятий). Я думаю, она старше меня, а может, просто выглядит старообразно.

Третью комнату занимает юная дева, аномальная и аморальная, которая не появляется уже долгое время. Может, ее убили, прости Господи! С ней все что угодно могло произойти. Может, ее насильственно лечат от наркомании или туберкулеза, либо содержат на государственном счете в казенном доме...

Пока Любка была на работе, квартира принадлежала мне. Я читала письма в постели и в ночной рубашке бродила из комнаты в кухню, держась за стены. Меня шатало. Еще бы, столько

пролежать. Помыться под душем и одеться – не было сил. Иногда смотрела в зеркало, будто там могло отобразиться что-то новенькое. Смотрела в окно.

Морщинистые стволы старых лип, раскидистая черемуха, в развилке которой воронье гнездо, семирукий мощный дуб. Привычная картина, которую я любила. Но во время болезни скелеты деревьев представлялись мне почему-то страшными, черными иероглифами, в которых зашифрована моя злосчастная судьба. Я на них не могла глядеть без содрогания. Депрессивные липы, депрессивная черемуха. А главное – дуб! Он засох еще прошлой зимой, и теперь, несмотря на то, что кора все еще облегал его ствол, среди других обнаженных деревьев он выделялся, он выглядел мертвым. Смерть отметила его своим клеймом. За голыми деревьями виднелся депрессивный дом, блестевший на закате молочно-серебристыми окнами, словно затянутыми рыбьими пузырями. И сам двор то в грязи, то в лужах, то в наледи казался депрессивным.

А теперь оказалось – дом как дом, двор как двор, хотя по-весеннему неряшлив, небо серое, но меня это больше не пугает. Рецидив был, когда увидела ворон, ломавших на дубе ветки для починки гнезда. Они не трогали гибкие ветви живых деревьев, а с костяным стоном выламывали засохшие. Слышать этот треск я не могла, он возник у меня в голове. И исчез.

Я не хотела думать ни о чем негативном. Телевизор не включала, чтобы не слышать о терактах, разбившихся самолетах и автобусах с детьми, столкнувшихся с поездами, чтобы не видеть взрывы, места катастроф и несчастий с лужами крови. Эти сообщения погружали меня во мрак.

* * *

Нашла прелестное письмо от отца. В конверт было вложено перышко, и он утверждал, что это перо ангела. Я помню, как получила это письмо, как помчалась к маме с воплем: «Папа прислал мне перо ангела!» Кто бы видел лицо моей матери в тот момент! «Какая чепуха!» – сердито сказала она, а затем обратилась к бабушке: – «Очень в духе Николая морочить ребенку голову».

Я перечитывала письмо. Отец велел посмотреть сквозь перо на солнце, не помню, смотрела или нет, но сейчас солнца не было, а слезы лились ручьем. Плакала я долго, громко, благо Любка ушла на работу. Со слезами из меня выходила болезнь.

После встречи во сне с Валеркой Спиркиным, что-то во мне определенно изменилось. Я вернулась в детство, где меня по-настоящему любили. Отсюда, с этой станции и следовало начать жить, выпустив годы, проведенные с Иваном и Юриком. Пора с ними попрощаться. Все в прошлом – и мой нелюбимый, благородный муж Ванечка и мой несравненный возлюбленный, обожаемый предатель Юрик. Я еще встречу любовь, найду своего единственного.

Говорят, будто мысли и переживания в некотором роде материальны, они обладают силой, оказывают воздействие на окружающий мир и рожают будущее. Они, как свиль в дереве, прихотливо изогнутые волокна, пронизывают ствол жизни. Я почти не удивилась, получив письмо от Сергея. Любопытно, что он меня вспомнил. Всему этому нет объяснений, кроме фантастических: я нашла старые письма, думала о давно забытых людях, и мои мысли-волны докатились до него. Хотя лучше бы они докатились до кого-нибудь другого.

С Сереей из Мурманска я познакомилась в Ялте. Были романтические прогулки при луне, но романа так и не случилось, времени не хватило, отпуск кончился. Больше мы с ним не встречались, но он звонил, писал и в ультимативной форме заявил: если не выйду за него замуж, он женится на другой. Я благословила его, он обиделся и пропал. И вот объявился через столько лет. От него ушла жена, у него тяжелое заболевание почек, просил достать лекарство, которого нет в Мурманске. Вот те раз! Уговорила Любку поискать лекарство и отослать ему.

Еще дня через три, проснувшись, я увидела свою комнату залитой солнечным светом, и почувствовала себя здоровой. Улетучились черные мысли. Мне весело! У меня все впереди! Я живая, я готова выйти из дома и отправиться навстречу своей судьбе и любви.

На фасках стекол старого с резьбой буфета и в гранях бокалов, там за стеклом, вспыхивали искорки света. С фотографии на стене ободряюще смотрел папа, с пианино – из современной рамки – мама, а с портрета маслом – неопознанный мужик в старинном сюртуке и мягком галстуке, заколотом, как бант, с лицом бледным, чуть брезгливым, со взглядом внимательным, даже пристальным, смущавшим меня в детстве. Этот мужик давным-давно прижился в нашей семье, но как он появился – не знаю, это случилось до моего рождения. Мама утверждала, будто это какой-то наш предок, в чем я очень сомневаюсь, хотя за давностью лет он действительно мог бы считаться таковым. Он много пережил, он родителей моих пережил, наверное, и меня переживет. Я называю его Федей, чтобы не был без имени.

В то утро Федя смотрел на меня с легким удивлением и приязнью, так же, как и я на все окружающее, на цветные корешки любимых книг, акварели и пейзаж маслом, где изображен старый сад, в глубине которого скрывается деревянный дом. Я всегда любила воображать, что живу в этом доме.

Будто впервые глядела я на привычные вещи: шляпную коробку, вазы и вазочки, большую и нелепую, времен модерна, скульптуру из раскрашенного гипса, изображавшую истомное, вожденное объятие восточных юноши и девушки, не голых, разумеется, одетых в экзотические наряды, но, несмотря на это, прямо-таки источавших сладострастие. В отрочестве эта скульптура производила на меня сильное впечатление и ускоряла ход полового созревания.

С легким удивлением и приязнью я смотрела фотографии, корешки книг, на акварели и пейзаж маслом со старым садом, в глубине которого скрывается деревянный дом, с детства я любила воображать, что живу в нем. Это все – мой старый добрый мир, где я родилась и существовала, и будто не было перерыва на неудачную семейную жизнь и несчастливую любовь к Юрику. И вдруг я поняла, что никогда больше не вернусь на свою работу, которая мне обрыдла, к докучным женщинам, их болтовне и чаепитиям, муравьиной суеде и бесконечной бытовой озабоченности, не увижу лягушачье лицо заведующей и не услышу ее карамельный голос. В глубине души я хотела покончить с этим раньше, но боялась поставить точку. Теперь – баста. У меня больше нет никаких обязательств, кроме одного: быть счастливой!

Сколько я продержусь без своей нищенской зарплаты? Взглянула на Федю. Нет, я не могу продать товарища (может быть, даже родственника), который поселился здесь задолго до меня, к тому же в антикварном за него дадут гроши, а сбудут, конечно, задорого. Но осталось кое-что, с чем я расстанусь без особой жалости. А если задуматься, я со всем могу расстаться, потому что все свое, как говорил латинский мудрец, ношу с собой, мое – в моей душе. До осени, а может, и до зимы я точно проживу, если не буду транжирить, а там будет видно.

Хочу вернуться к себе прежней. Почему люди предпочитают жить тяжело, из последних сил? Не хочу! Надоело! Буду плыть по течению: никаких планов, никакого насилия над собой. Запросы у меня скромные, я не алчу ресторанов, ночных клубов и казино. Может быть, перечту «Кола Брюньона», «Лунный камень» или «Три товарища». Схожу в Русский музей. Куплю букетик гиацинтов. Не буду есть ненавистных супов и пить кефир, потому что это полезно. Буду валяться на тахте, слушать музыку, пить кофе и есть сгущенку. Буду шататься без дела, без цели, глазеть на дома, витрины, деревья и людей. На мужчин! И они пусть на меня смотрят. Буду существовать по рецепту Монтеня: впереди – вечность, но надо проживать каждый день, будто он единственный. Не стану искать любовь, ее не ищут, а встречают.

Произвела смотр гардероба. Приведение себя в порядок стоило мне последних сил, и все-таки я спустилась и постояла у подъезда. Воздух произвел ошеломительное впечатление, голова кружилась, ноги дрожали, в ушах – легкий хрустальный звон. Яркое солнце, небо пронзительно синее, стволы деревьев глубокого черного цвета с бархатной прозеленью мха на тол-

стых пологих ветвях, а выше, в сеточке тонких веток, запутавшаяся связка голубых и красных шаров. Праздник воздушных шаров!

Хотела посидеть на скамейке, но ее оккупировали старухи. Лица, как печеные яблоки, одеты в уродливую одежду, смотрят недобро. Сколько раз ловила на себе их осуждающие взгляды. Они ненавидят молодость, от них пахнет смертью.

4

Снова был легкий рецидив: проснулась с черными мыслями. Открыла глаза, на потолке – муха. Вспомнила о новой жизни, которую собиралась начать.

На часах пять утра. Подошла к окну, открыла форточку и вздохнула полной грудью холодный воздух. Воробышки скачут по веткам черемухи. Господи, вот ведь он мир, жизнь! Это все – мое! Свежесть утра! Птичьи голоса! Все спят, только я бодрствую. Но нет, еще один человек не спал. Он вывернул из-за дома и шел по двору заплетающимися ногами. Он был пьян.

Проспав до одиннадцати, вышла и постояла у подъезда. Скамейка опять занята старухами. Вернулась, съела тарелку Любкиного супа, потом валялась на тахте, наслаждаясь блаженным состоянием полусна – полуяви.

Вечером побродила по окрестностям. На расстоянии трех кварталов много перемен. На месте продуктового – «Персидские ковры», на месте хозяйственного – галерея «Мир мебели». Еще один филиал банка, еще одна «Студия красоты» (то бишь парикмахерская) и два суши-бара. Все это возникло за те месяцы, что я провалялась в постели! А также новый винный магазин с расставленными по стеллажам бутылками – «Винотека». Цены ни с чем не сравнимые. Купила в магазине «24 часа» недорогое сухое красное. Еле доползла домой, так устала. Пригласила Любку на бокал вина, она поджала губы и отказалась, но потом все-таки пришла с котлетами и квашеной капустой. Такое впечатление, будто ей приятнее, когда я болею и лежу в постели. А может, уход за мной привнес хоть какой-то смысл в ее жизнь? За последнее время она изрядно обнаглела, привыкла мной командовать, и, похоже, ей это нравилось. Устроила мне сцену: почему я накрывала старой кружевной шалью настольную лампу, и она прогорела? Мне так захотелось! Ну, и черт с ней, с шалью! Зачем поставила горячий утюг на старинный ларец с узором из скани? Во-первых, не такой уж он и старинный, во-вторых, я ставлю на него утюг давно и проволочные кружева уже изрядно помяты, а, в-третьих, вещица крайне безвкусная, ее давно следовало бы выбросить. Спросила ее:

– Хочешь, подарю? – Любка фыркнула с показным негодованием. – Да я и не собиралась. Куда ж я буду утюг ставить?

– У тебя на гладильной доске специальное место для этого!

– Что ты ко мне привязалась? Мой ларец: хочу – утюг буду ставить, хочу – в помойку выкину!

Мне нравится ее злить. Бедная Любка никогда не поймет маленького секрета обладания миром. Я смотрю на него – он мой! Я пожираю его глазами, ласкаю глазами, я наслаждаюсь музейным фарфором, эрмитажными геммами и камнями, водопадом цветущих азалий в оранжерее Ботанического сада. Я обладаю всем, что вижу. Неужели я буду плакать над каким-то ширпотребным ларцом старого времени?

Подозреваю, что Любка очень одинока. Возможно, она даже искренне привязана ко мне, хотя потихоньку и приворовывает. У нее есть подходящий ключ к моей комнате, я замечала, что она заходит, когда меня нет дома.

– Тебе ничего не жалко, – говорит она обиженным тоном.

– Почему же?... Я вещи люблю. Кстати, хотела тебя спросить, не видела ли ты моего колечка с бриллиантками? Оно лежало в шкатулке на подзеркальнике.

Вспыхнула.

– Об этом надо спросить твоего Юрика!

Посмотрела на нее и впервые допустила кощунственную мысль: а может быть, она права? Только правду я вряд ли узнаю. Однако, несмотря на обладание мною всеми сокровищами мира, было чертовски жаль этого колечка.

Я выпила совсем немного, и опьянела с непривычки, а Любка, хоть и отказывалась, пила с удовольствием. Я надеялась, она расслабится и заговорит по-человечески, но ничего подобного, стала спешить к телевизору, свой-то я не включаю.

– Там хорошие образовательные передачи, я смотрю документальный сериал про фараонов, – говорит она.

– Ты бы лучше любовника завела, гораздо полезнее, чем сидеть у телевизора с фараонами.

– Ни стыда у тебя, ни совести!

Разозлилась и ушла, но настроения не испортила, и я доела ее котлеты с капустой. Готовит она хорошо, но, что бы на сей счет ни говорили, этого мало, чтобы удержать мужчину. И мужчина-то был никакой, пьяница и бабник. В борьбе за него Любка проявляла нечеловеческие усилия, и добро бы дело было в любви, я подозреваю, она просто хотела сохранить мужа. А может, она хотела того же, что и я: единственного мужчину на всю жизнь.

Понесла в кухню грязную посуду. Она там. Зареванная. Смотрит прямо перед собой, плечи и руки приподняты, как у культуриста, демонстрирующего свои бицепсы-трицепсы.

– Я наполняюсь, наполняюсь, наполняюсь, – шепчет она, – мощной, очень мощной жизненной энергией!

– Только не пукни от напряжения, – не удержалась я.

– Иди к черту!

Я засмеялась, и она, хлопнув носом, тоже.

– А может, у тебя не все потеряно? – спрашиваю. – Давай потанцуем?

Отвергла с возмущением.

– Почему не смотришь своих фараонов, не образоваешься?

Махнула рукой, по щекам слезы. И вдруг я вспомнила, что никогда не видела ее плачущей, и так мне стало ее жалко, что присела рядом, обняла. Плечи трясутся, нос распух, плачет горько, безутешно, как маленькая девочка. Я гладила ее по голове с невесть откуда взявшейся нежностью, словно она моя дочка, мой ребенок, которому чертовски не повезло в жизни, а она рыдала у меня на груди. Мы с ней давно живем рядом, разумеется, она меня по-своему любит, но она – собственница во всем, а я терпеть не могу, когда кто-то заявляет на меня права.

* * *

Предки моей матери были дворянской крови, но внешне она походила на крестьянку, каких Филонов рисовал, неуклюжих, с большими руками и ногами, словно топором вытесанных. Все предки моего отца были крестьянами, отец же, элегантный красавец с тонким, вдохновенным лицом и выразительными руками, отличался артистичностью и шармом.

Маму на протяжении всей жизни помню в одном и том же платье. Конечно, платья менялись, но фасон, а вернее его отсутствие, и темный цвет, оставались прежними. А еще ужасный длинный холщевый фартук, заляпанный масляной краской. Вот какой я вижу маму. Отца помню в хорошо сшитом костюме, в шляпе с полями, с его стремительной летящей походкой в развевающемся на ходу, не застегнутом плаще.

От мамы пахло скипидаром, от отца – дорогим одеколоном и трубочным табаком. Но это уже потом, а в юности они были бедны.

Как они сошлись? Как могли полюбить друг друга? Я часто задавала себе этот вопрос. Думаю, он полюбил ее талант. Но живут не с талантом, с женщиной. А если все мысли и чувства, все силы души этой женщины отданы искусству, мужчине, который любил ее, не позавидуешь.

Они поженились совсем молодыми. Они вместе учились. Я знаю, что оба были лучшими, первыми. Но ему пришлось бросить учебу, чтобы кормить семью. Работал в фотоателье, потом

снимал для газет и журналов, так и не стал живописцем. Он пожертвовал собой ради семьи, но семья все равно развалилась. Отец нашел себе женщину, которая посвятила себя ему, а не творчеству. Он переехал к ней, а мать с еще большей истовостью отдавалась живописи.

Мать мечтала, что я стану художницей. Все данные для этого были, она видела это, об этом говорили и в СХШ при Академии художеств, где я училась. Но отец ушел из семьи, и все во мне восстало против матери и ее образа жизни. Я всегда любила отца больше, чем мать. И я сказала себе: никогда не буду ходить в рубище. От меня будет пахнуть дорогими духами, а не масляными красками. И у меня будет любовь. Слава богу, внешность я унаследовала от отца. Я никогда не стану такой, как мать, и никогда не стану художницей. Ей назло. Ведь матери так этого хотелось!

Какая-то ужасная бессмыслица. Из чувства противоречия, чтобы досадить матери, я пошла в Электротехнический, с трудом его закончила, но работать по специальности не стала, потому что специальность была мне отвратительна. Вышла замуж. Развелась. Второй раз вышла замуж за своего первого мужа, чтобы начать все сначала и родить ребенка. Но дети без любви не рождаются. Опять разошлись. Устроилась в библиотеку. Ни карандаша, ни кисти в руках много лет не держала, за исключением оформления студенческой стенгазеты и надписей на библиотечных выставочных стендах. Но мне все время хотелось рисовать! Особенно по весне! Однако я себя постоянно пересиливала и в какой-то момент в этом сопротивлении начала находить даже удовольствие.

Знаю, это ужасно, но я все еще не могу простить матери любви к искусству и виню в развале семьи. Прости меня, мамочка, что не оправдала твои надежды и не стала художницей, что зарыла талант. Я за это тяжело расплачиваюсь. Прости, что до сих пор тебя не простила, хоть ты уже много лет лежишь в могиле!

5

Темнота чернее ночи и глубочайшая тишина, от которой звенит в ушах. Перепугалась ужасно, потому что вообразила себя в гробу. Протянула руку, наткнулась на что-то мягко-пружинистое, оно подалось и обрушилось со страшным грохотом, который слился с моим воплем. И тут же захлопали двери, раздались голоса. Затеplился огонек, замелькали надо мной чьи-то враждебные лица. Из их переговоров я поняла, что уронила ширму. А зачем меня загоразживать? Дали глоток какого-то питья с привкусом травы, и я подумала: может, это какой-то одуряющий напиток?

Было невмочь слышать гул голосов, а чтобы ничего не видеть, я закрыла глаза. Мне нужно вспомнить – не помню что. И фамилию, которую здесь называли, я забыла. Я должна была вспомнить все и всех, с кем общалась в последнее время. Ко мне приходила и звонила Лёлька...

Лёлька – школьная подруга, мы за одной партой сидели. Нынче она в вечных заботах о своем семействе, о кормлении, лечении и прочем, но при всем том ей удается работать. Специальность Лёльки – романист. Разумеется, не тот, что романы пишет. Она специалист в романских языках и занимается переводами с испанского. У меня есть сборник стихов «Романсеро испанской войны» и еще что-то в этом роде, где она в числе переводчиков. Но в настоящий момент на романсеро нет спроса, и Лёлька переводит тексты какой-то строительной фирмы, которая обретается в Питере. Печально, что Лёлька, влюбленная в испанскую культуру, в Испании никогда не была. А я была. Так странно и непредсказуемо складывается жизнь.

А еще в апреле я часто общалась с Пал Палычем. Между прочим, старый чекист, подполковник в отставке! Это уже серьезнее. Его разговоры про разгул демократии и прочие безобразия я пресекала, потому что они депрессивны по сути. А что он рассказывал о бандитах, помню только в общих чертах. В девяностые годы, когда уже был в отставке, бандиты приглашали его возглавить какое-то охранный предприятие, но он отказался. Ну, и что из этого следует? Не знаю. Я вообще о нем почти ничего не знаю. У него жена сумасшедшая, он ее из дома не выпускает. Говорят, когда они молодыми познакомились в Севастополе, она была там первой красавицей. Еще говорят, что она ему карьеру поломала. Как именно – неизвестно. Живет он скромно, но на хороший коньяк хватает, а может, и еще на что-нибудь. Наше с ним общение закончилось, потому что мне стало невыносимо скучно и противно. Может, он решил отомстить?

Я и общалась с ним потому, что была еще не здорова. Пройду три квартала и с ног валюсь. И негатив какой-нибудь в глаза лезет. Видела на водосточной трубе объявление – словно током ударило! «Потерялся человек! Мужчина, 60-ти лет, среднего роста, седой, глаза светло-коричневые, одет в серое демисезонное пальто...» Так о пропаже кошек и собак объявления развешивают. Я потом долго о нем думала, об этом седом мужчине в сером демисезонном пальто. Где же он? Что с ним случилось?

Гулять обязательно нужно. С Любкой ездила в Апрашку, обновила гардероб. Устала смертельно, но часа через два надела новую куртку и снова пошла на улицу. Весенний воздух пьянит почище всякого вина. Я воздушный алкоголик.

Во дворе обнаружила Пал Палыча. Он ковырялся в своем «форде» и спросил, не уезжала ли я, потому что давно меня не видел, и предложил прокатиться, но сначала заехать в авторемонтную мастерскую. Почему бы и нет? Бродить по улице нет сил, и старики не такие противные, как старухи.

Мастерская была на каком-то закрытом предприятии. Территория его выходила к Малой Неве, и здесь сильно чувствовался острый и свежий запах реки, водорослей, близкого моря, особый петербургский запах, который усиливал гуляющий на свободе ветер. Починки машины

пришлось ждать долго, мы спустились к реке и уселись на ствол спиленного дерева. Вода мягко шлепала у берега, а когда проходил катер, пыталась волной дотянуться и лизнуть наши ноги. Я дышала полной грудью и не могла надыхаться. Кругом валялась арматура, ржавые железяки, пластиковые и стеклянные бутылки, среди которых ободранный кустик вербы выглядел робко и трогательно.

Старик проявлял ко мне повышенное внимание, поддерживал за локоток, уступал дорогу, говорил комплименты и повел в ближайшее кафе. Даже не представляла, что еще существуют такие совковые заведения с заветренным салатом, жареным мясом-подошвой и жидким кофе из обычного кофейника. Но как ни странно, эта поездка доставила мне удовольствие. Я просто жила, ничего необыкновенного не ждала, никуда не торопилась. По рецепту Монтеня. Это был праздник весенней Невы. На прощанье старик поцеловал мне руку, я его – в вялую щеку, а вечером, когда я мылась в душе, принес ветку кустовой хризантемы и передал Любке. Она заметила с желчной иронией: «Цветы от поклонника, потрясенного твоей неотражимостью», – а меня разобрал смех.

Я поставила хризантемы в воду, смотрела на мелкие нежно-сиреневые цветки и вдруг обнаружила, что у них славные, мохнатые, наивные, удивленно-любопытные мордашки. Как у щенков.

Долго не могла заснуть, в окно светила яркая полная луна. Вспомнила пропавшего мужчину в демисезонном пальто. Подумала: странно, что нет ответа от Сережи из Мурманска. Получил ли он лекарство? И следующая мысль: а послала ли его Любка? Говорит, послала. Глаза ее мне не нравятся: скользкие, словно от прямого взгляда уклоняются. Она завидует мне, всегда завидовала.

А на другой день мне показалось, что Пал Палыч специально поджидает меня возле своего «форда».

– Будет настроение покататься, пригласите меня.

– Куда прикажете? – обрадовался он, и открыл передо мной дверь.

– Знаете деревянный мост между Петровским и Крестовским островом?

И мы покатили на Петровский остров. Это очень глупо, но я волновалась, с бьющимся сердцем чуть не бежала через мост, оставив Пал Палыча позади, чтобы предстать перед Валеркой Спиркиным. Но сон не был вещим. Не шел мне Валерка навстречу. А мост был точно таким, как во сне, только деревья еще не зазеленели и летние, красные цветы, взвихренные, как язычки пламени, еще не выросли. Но красота все равно была удивительная: синющие небо и Невка, и тростник тускло-песочного цвета на отмелях. Белоснежные чайки реяли у берега Крестовского, где за деревьями светился розовый дворец, плавали на воде и льдинах и сидели на ледорезах, вертикальных бревенчатых сваях, опоясанных хомутами, которые стояли рядом с мостом. И кряквы плыли на льдинах и кучковались на берегу. И все это так ослепительно сверкало на солнце, что я поняла: хочу рисовать, хочу рисовать!

Так начались наши поездки на острова. Силы я набирала медленно, и весна не спешила. Деревья и кустарник стояли, словно замороженные. Только в мире птиц происходили чудные события. Кряквы парочками гуляли по газонам, залитым водой, и тропинкам, парочками лежали на обсохших участках. Чайки устраивали шумные базары. Дрозды-рябинники скакали меж деревьев. Грача видела. Синичек – не счесть. А еще летел над Елагиным островом журавлиный клин. Вот уж не думала, что они летают над городом. А однажды утром я застала на подоконнике кухни двух целующихся голубей. Чтобы не спугнуть их, застыла в дверях и долго стояла, а они все целовались и целовались.

Я выздоравливала. Это было заметно прежде всего по мужским взглядам, которые я ловила на себе. Но я еще не была готова войти в контакт с внешним миром, тихо и радостно жила в себе. И кроме прогулок с Пал Палычем на острова, бродила по улочкам Барселоны и Гранады, Кордовы и Севильи.

Мое реальное путешествие в Испанию длилась неделю, но за это время мы проделали три тысячи километров в комфортабельном автобусе, и я не могла оторваться от окна, от красно-кирпичных полей, оливковых рощ, горных склонов, холмов, увенчанными руинами замков, и белых городов. Кажется, всю бы жизнь смотрела и не насмотрелась бы. Поездка случилась два года назад, но не тускнела в памяти, и теперь я укрывалась в этих лечебных воспоминаниях, ведь они никак не ассоциировались с моей работой, Юриком, болезнью. Эту безопасную, отрядную территорию я лелеяла и украшала своими фантазиями.

Листая свои замечательные книги с множеством ярких фотографий, я вглядывалась в глубокую синеву неба, охристый песчаник древних стен, тротуары, выложенные плитняком и галькой, словно рисунчатый паркет. Я ловила особый момент и выискивала особую фотографию, чтобы закрыть глаза и продолжать видеть ее перед собой, а потом дышать глубоко, пока легкие не наполнятся свежим воздухом, не погладит кожу вечернее щадящее солнце, а ноги сами не проследуют по улочке, бегущей ступенями вниз, такой узкой, что не раскинуть рук, чтобы не упереться в высокие стены с зарешеченными окнами и фонарями в кованых оправках.

И вот уже я иду, не зная, что за поворотом, а там обнаруживается маленькая площадь с сувенирными лавочками, веселая от множества витрин, густо заставленных завлекательными мелочами; с кафешками и вынесенными из них столиками; с массой цветов в горшках, закрепленных прямо на стенах домов, с окнами и балкончиками, утопающими в зелени, с пальмами в кадках возле дверей, обрамленных каменной резьбой, с гербами, львами и всякими украшениями. Людей почти нет. Несколько прохожих да пузатый дядька в белом переднике и колпаке застыл, скрестив руки, в дверях кондитерской, а у одной из витрин что-то обсуждают две юные особы, одна покачивает коляску с ребенком. Эта витрина полна щитами, мечами, ножами, золотыми тарелками с чеканным узором, с обязательным Дон Кихотом и Санчо Панса в глубине магазина и рыцарем у входа, а точнее одними латами, без рыцаря.

И я догадываюсь: это же Толедо! Здесь издревле трудились прославленные оружейники. В магазинчике и сейчас сидит мастер-чеканщик, демонстрирует публике мастерство. Но я не смотрю на его кропотливую работу, не захожу в кондитерскую, не останавливаюсь у витрин с веерами, керамикой, альбомами, я углубляюсь все дальше и дальше, в лабиринт улочек, в просвете которых толчея черепичных крыш или затейливая колокольня. Думаю о встрече с единственным мужчиной, иду без цели, куда ноги вынесут, пока не оказываюсь на площадке и вижу панораму: река Тахо, холмы, зеленовато-голубые дали, а в необъятном небе, среди разорванных облаков – белокурый ангел в развевающейся желтовато-розовой тунике...

Переживания мои настолько реальны, что я пугаюсь: однажды, углубившись в паутину улочек, я могу заблудиться и не найти дорогу назад. А может, не надо этому сопротивляться?

Пал Палыча, честно говоря, мне и вспоминать не охота. Не моя вина, что не смогла отплатить ему добром, и сейчас подозреваю во всех смертных грехах. А история вышла такая. Поводился он ходить в гости. Первый раз меня это позабавило. Пришел с цветами, конфетами, бутылкой вина. Мы провели вечер за разговорами и даже танцевали под «Рио-Риту». Но он зачастил с визитами, стал являться с бутылкой коньяка, которую сам и выпивал, потому что я крепких напитков не употребляю. Конечно же, он ни о чем романтическом со мной не мечтал, не идиот же он. Просто его собственный дом с сумасшедшей женой ему сильно обрыд, вот он и искал прибежища. Естественно, мое общество было ему приятно, хотя следовало для этой цели найти старушку, и у нее отсиживаться вечерами. В общем, я сплеховала, затянув эти посещения.

Кончилось все странно и неожиданно. Он сидел с бутылкой и о чем-то говорил, а я стояла к нему спиной и смотрела в окно. Сначала думала о своем и вдруг поняла, что пою: «Не покидай меня, весна, грозой и холодом минутным меня напрасно не дразни...» А пела я, чтобы заглушить его, своими разглагольствованиями он мешал мне думать. Я обернулась, Пал Палыч ошалело смотрел на меня. Наверное, я давно громко пела. Тут же я вышла в кухню, и прошло

прилично времени, пока наконец-то хлопнула входная дверь. Он ушел. И все. Мог он затаить на меня обиду?

6

Эта дурацкая и прискорбная история случилась в тот день, когда я впервые увидела дом с подворотней, под аркой которого меня пытались душить.

Накануне позвонила Лёлька и сказала, что едет с испанцами на экскурсию «Петербург Достоевского» и может взять меня. Автобус будет у гостиницы, совсем рядом с моим домом, только встать нужно очень рано, потому что днем испанцы улетают. И странная мысль у меня мелькнула: вдруг среди этих испанцев – мой, единственный, которого я искала в своих виртуальных прогулках по узким улочкам Толедо или Кордовы?

День, как специально, выдался серый, дождь то закрапает, то перестанет, «достоевский» день, тяжелый. Мы загрузились в микроавтобус: экскурсоводка, Лёлька-переводчица, я и пятеро испанцев. Двое мужчин, из которых песок сыпался, однако не лишенных испанской внимательной сдержанности и любезности, а также чувства меры. Две престарелые испанки походили на древних латимерий. Латимерии, одетые в широкие полупальто из дорогого меха, зрелище обворожительное. И была с ними девица в длинном черном пальто, на плечи накинут и свободно завязан на груди павловопосадский платок в розах. Лицо у нее было выразительное с резкими грубоватыми чертами, глаза – уголья, настоящая Кармен, так ее и звали, только мы привыкли ставить ударение на последнем слоге, у испанцев ударный слог – первый. Все испанцы были из Барселоны, связаны каким-то родством, а один из мужчин, дон Мигель, преподавал в университете русскую литературу и говорил по-русски, но плохо.

Мы заехали на Гороховую к дому Рогожина, а на Сенной высадились и пошли к станции метро. Экскурсоводка возвестила, что здесь в давние времена стояла церковь, а перед церковью стоял на коленях Раскольников после убийства старухи-процентщицы. Отсюда и начался его тяжкий путь раскаянья. И наш пеший путь по местам героев «Преступления и наказания» тоже начался отсюда.

– Вот здесь, – сказала в переулке зловещим шепотом экскурсоводка, – Раскольников услышал о том, что старуха останется дома одна!..

Лёлька перевела и испанцы сочувственно закивали головами. Они были непосредственно-наивны, как дети. Интересно, читал ли кто-нибудь Достоевского, кроме старика-профессора?

Я уже не помню, когда гуляла по городу в столь ранний час. Дождик больше не крапал, а улочки заливал серый и ровный свет. Они были чистенькие, без людей и машин, словно музейные. Ряды невысоких четырехэтажных домов, со срезанными на перекрестках углами, балкончиками, темными подворотнями и дворами-колодцами казались декорацией к какой-то петербургской пьесе.

У дома убиенной Раскольниковым Алены Ивановны – и надо же такому случиться! – увидели «скорую», а подошли как раз в тот момент, когда на носилках вытаскивали старушку. Пока ее загружали в машину, испанцы со скорбными лицами тихонько переговаривались по-своему, а я не удержалась и хихикнула, и Кармен подавилась смешком и закашлялась, прикрывая рот платком с розами. Старухи и Лёлька на нас строго глянули, «скорая» отчалила, и одна из латимерий заговорщицки нам с Кармен улыбнулась. От дома старухи до дома Раскольникова испанцы под бдительным руководством экскурсоводки считали шаги, их должно было оказаться семьсот тридцать, столько насчитал сам Родион Раскольников, не раз следуя этой дорогой. Однако что-то у наших не сходилось, и они спорили и волновались.

Дом Раскольникова с памятной доской и металлическим рельефным портретом писателя был угловым. Экскурсоводка вывела нас на самый перекресток, чтобы показать удивительную особенность этого места.

– Оглянитесь вокруг! Взгляд упирается в дома и создается впечатление, что этот перекресток никуда не ведет, словно подчеркивает безвыходность положения героя романа, – сказала она, а Лёлька повторила по-испански.

Все стали растерянно озираться, и я посмотрела – точно! У меня даже голова на миг закружилась. А экскурсоводка показала подвальное окно дворницкой, где Раскольников нашел топор.

Все здешние дворы закрыты кодовыми замками, потому что жителей одолевают туристы. Но экскурсоводка знала код, открыла калитку в воротах и завела нас под арку подворотни. Двор был вычищен и вылизан, превращен в питерский образцово-показательный или обычный европейский дворик с дорожками, выложенными плитками, огороженными газончиками с подстриженными кустиками, скамеечкой и фонариками, словно кто-то специально и старательно стремился уничтожить атмосферу романа. И лестница в подъезде была по нашим меркам образцово-показательная: побеленные потолки и выкрашенные грязно-зеленой масляной краской стены. Что ж, все правильно. Одно дело придти на экскурсию, чтобы ненадолго погрузиться в «достоевскую» атмосферу, а другое – жить в грязи и разрухе. Впрочем, кое-что из антуража не могло не сохраниться: архитектура лестниц с отсутствием площадок, с поэтажными языками коридоров, куда выходили двери квартир, а также звуки и запахи. На втором этаже стоял густой капустный дух, слышно было, как гремели крышки кастрюль и работал телевизор. На третьем этаже за дверями полным ходом шел безобразный скандал с матом. На четвертом – жарили рыбу.

С остановками мы поднялись до самого верха, где потолок опустился, а лестница уткнулась в чердачную, наглухо заделанную дверь. К ней вели тринадцать ступенек. Здесь жил Раскольников!

На стекле лестничного окна я прочла выцарапанное: «Kill the babka», а рядом на стене, под нарисованным топором, с которого падали капли крови: «Ты сделал это, Родя!»

Через квартал, в подобном же угловом доме, жил сам Достоевский и писал там «Преступление и наказание». Надо же, и сегодня там живут люди! Интересно, какие они, читали ли Федора Михайловича, счастливы ли? Наверно, если поободрать обои в этой квартире, можно добраться до тех самых, старинных, если, конечно, там не было евроремонта. Не хотела бы я жить в его квартире. Экскурсоводка показала ее, на втором этаже, над воротами. В окнах большие белые буквы «SALE».

В этих пустых улицах, на этих перекрестках и Достоевский, и Раскольников, оба представлялись в равной степени реальными и одинаково фантастичными.

Нам предстояло еще узнать, где допрашивали Раскольникова, осмотреть дом каретного мастера и два дома Сонечки Мармеладовой (потому что по мнению литературоведов оба подходили под описание). Вот тут и случился со мной некий странный эпизод, хотя, теперь я почти уверена, что был он не случайным.

В какой-то момент я немного отстала от группы, уловила свежий островатый, похожий на огуречный, запах корюшки и стала оглядываться в поисках продавца с лотком, чтобы узнать цену. Почему-то не подумала, что для торговли еще рано, улицы пусты. В общем, побежала я догонять испанцев, которые ушли довольно далеко, и на каком-то перекрестке, словно во сне, передо мной промелькнуло дивное видение. В конце улочки домик, точнее, двухэтажный флигель с односкатной крышей, прилепившийся к большому дому. Во флигеле круглая арка, кованые ворота с калиткой. Возле арки окно, на подоконнике за стеклом большой рыжий кот, на втором этаже два окна с вишневыми занавесками и геранью в горшках, и чердачное окошко. На чердаке, наверное, жил художник, об этом говорил керамический горшок, полный кистей и гипсовая голова какого-то античного чудака. Внезапно, откуда не возьмись, на улице появился и скрылся в подворотне флигеля высокий мужчина в темном длинном пальто,

в шляпе с полями, с совершенно особенной, знакомой мне, размашисто-летающей походкой. Лица его я не видела.

Не знаю, как я умудрилась на бегу ухватить эту картину так ярко, подробно и даже протяженно во времени. И почему не остановилась, не побежала к флигелю, не попыталась догнать этого мужчину? Возможно, я сразу и не поняла, что это видение означает для меня нечто важное, словно видела я когда-то этот уютный, милый для меня уголок, приходила сюда, связаны у меня с ним какие-то переживания. Когда это было, в какой жизни, да и было ли вообще? Дежа вю...

Я нагнала испанцев и теперь шла рядом с Кармен, которая пыталась наладить со мной разговор через Лёльку.

– Ей здесь очень нравится, – сообщила Лёлька.

– А мне не очень. Вычистили все вокруг, вылизали, отремонтировали дома, как игрушки. Достоевский-лэнд! Туристские тропы! Не хватает трехзвездочного отеля «Достоевский».

Испанцы двигались впереди и не видели, как у нас из под ног, из щели в асфальте, выскочила здоровая крыса и шмыгнула в другую щель, под дом. От неожиданности мы с Кармен одновременно взвизгнули, потом стали смеяться. Нас окружили, скрыть происшествие было невозможно, но, узнав причину переполоха, испанцы тоже засмеялись, а Кармен, заметив мое смущение, сказала, что в Барселоне тоже есть крысы.

Напоследок мы успели заехать в Никольский собор, где испанцы купили иконки и православные календари, а потом их повезли в ресторан и в аэропорт. А я – домой.

К тому времени я уже изрядно окрепла, могла совершать длительные прогулки, но экскурсия меня утомила. И все равно необъяснимо, почему о домике я вспомнила только вечером, когда заявился Пал Палыч. Я не могла избавиться от ощущения, что домик этот мне знаком. Давно-давно, может быть, в детстве, а может, во сне, бывала я там. И керамический горшок, и гипсовую голову, и герань я видела не раз. Словно сегодня все это выставили на обозрение специально для меня. Маячок!

И мужчина, так похожий на моего покойного отца! Сразу мне показалось, что похож, или позднее я нарисовала милый образ? Часто мы видим то, что нам хочется видеть...

Этим вечером, глядя в окно, я заметила в нежных сумерках, что вся черемуха усеяна зелеными светлячками. Они светились! Это лопнули на черемухе почки.

7

Болит голова, ломит все тело, ноет плечо, переворачиваясь на спину, издаю стон, и кто-то кладет мне руку на лоб, такую легкую и сухую, будто лист с дерева. Не хочу возвращаться к реальности. С опаской открываю глаза. Мне казалось, прошло много времени, но утро еще не наступило. В комнате почему-то горит свеча, а рядом с постелью сидит горбунья и смотрит на меня. Я ловлю выражение ее лица, в тот момент, когда она еще не предполагает встретиться со мной взглядом. Это очень внимательное, печальное и нежное лицо. Я крепко зажмуриваюсь, и меня обволакивает тишина и покой.

И что это я напридумывала всяких ужасов и странностей? Хотя странности, несомненно, были. Флигель с рыжим котом и гипсовым антиком я искала чуть ли не месяц. Все в том районе было на месте, и дом Достоевского, и дом Раскольников, и красные шелковые фонари на той же улице над входом в китайский ресторан, и все-все-все, а заветный флигель исчез, словно был галлюцинацией.

Я бродила по улочкам, среди машин и людей, как в лесу. Кругами. Возвращалась туда, откуда пришла. От перекрестка к перекрестку. И вдруг заметила: справа, слева и впереди, куда ни глянь, улицы упирались в набережную канала! Я испугалась, что у меня с головой не в порядке. Вернувшись домой, посмотрела карту. Да, в этих местах канал делает загогулины. С картой снова поехала на Сенную, а оттуда в заколдованное место. На канале нашла кафе «Лента Мёбиуса». Говорящее название! Может, кто-то, кроме меня, блуждал здесь по этой самой ленте и не мог выбраться или найти, что искал?

От долгих поисков у меня развилась настоящая тоска по этому домику, по жизни, которую я никак не могла вспомнить, по другой жизни. Я и домик уже не представляла так ясно, как в начале месяца, а потому решила его нарисовать для памяти. Под руку подвернулся кирпично-коричневый карандаш для обводки губ, и я нарисовала флигель, как помнила. Весь день мурлыкала: «Не покидай меня, весна...»

Я смотрела на свою комнату, знакомую до мелочей, на картины, корешки книг в стеллаже, на фотографии и окно с видом на деревья. Это – моя жизнь, я любила здесь все, даже старую подушечку для иголок в виде турецкой туфли. Но странное чувство, но смотрела я на комнату так, словно мне суждено было ее оставить, однако мысль о расставании не вызывала во мне жалости. И люблю – и покинуть не жалко.

8

Даже с закрытыми глазами я поняла, что уже рассвело. Подумала: сейчас открою глаза и окажусь в своей комнате. Но нет, комната была незнакомая. Целиком увидеть ее мешала ширма. Я лежала на кровати в белом балахоне до пят, с завязками у ворота и на кистях рук. Балахон насторожил, впрочем, на смирительную рубашку он не был похож.

С трудом привела себя в сидячее положение, дождалась, пока пройдет головокружение, и выбралась из-за ширмы. В комнате было окно без занавесок, белая кафельная печь и странная обстановка. Ореховый комод, два больших сундука, этажерка с засохшим цветком в горшке, треснувшей стеклянной вазой, всякими безделушками, чучелом пропыленной болотной птички с длинным, тонким клювом и одним глазом-бусиной, а также овальный стол под выцветшей ковровой скатертью, ампирный диван в плохом состоянии – просиженный, с прохудившейся обивкой, стулья, тоже знавшие лучшие времена, один с подогнутой ножкой, положен сиденьем на собрата. К стене прислонена картина с порванным холстом, морской вид. Маленький столик-бобик. Самая впечатляющая вещь – косо висевшие, большие настенные часы. Один из гвоздей, на котором они держались, вылетел, а стрелки сковала неподвижность уж не знаю в каком столетии. Все в этой комнате было какое-то разностильное, театральное.

И тут прокричал петух. Я пошла к окну и схватилась за комод, чтобы не упасть. Наверное, у меня сотрясение мозга.

Окно выходило на улицу, вымощенную булыгой, напротив – дом: первый этаж кирпичный, рябой от отвалившейся штукатурки, второй деревянный, некрашенный. Резные наличники. Новое крыльцо. За забором дерева, наверное, сад. Дальше виден дом в один этаж, с мансардой. Скамейки у заборов. Березы, рябина в желтоватых корзиночках цветов. Все напоминает глухую провинцию. Предположений, где я и как здесь оказалась, не было. И тишина. Вдруг дверь противоположного дома открылась, и вышло чучело, ряженая баба с корзиной на локте, словно из пьесы Островского. Баба ушла, а я так и стояла с отвалившейся от изумления челюстью, пока не дождалась еще одного персонажа – нетрезвого мужчину в чем-то мятом и в цилиндре на голове. Потом промчалась стайка ребятишек в немыслимой обуви и каких-то обносках, а вскоре цепочкой проследовали четыре ободранные бездомные собаки. И снова прокричал петух.

Еще раз осмотрела комнату. Открыла ящик комода – похоже, драное постельное белье. В другом – сборчатые юбки на завязках, старые корсеты и черт знает что... В сундуках какие-то зимние хламиды. В общем, что-то из девятнадцатого века.

Додик! Черт его дери! Я уже не сомневалась, что он вместе со своей театральной мастерской замешан в моем приключении, но пока мозаичные кусочки никак не складывались в цельную картину. Я разозлилась и развеселилась одновременно. Мне даже полегчало, расхаживала, не держась за стены и мебель. Снова прилипла к окну и смотрела на возвращавшуюся бабу с корзинкой. Что в корзинке – не разглядеть, накрыта платком.

Если бы поблизости снимался фильм, присутствие съемочной группы все равно что-то выдавало бы. Я искала это что-то и не находила, пока меня не осенило. А ведь это не фильм снимают! Это реалити-шоу!

Никогда не увлекалась этими шоу. Что в них происходит? Инсценировка жизни в заданных условиях? Купили, наверное, очередной иностранный проект – реалити-шоу из старинной жизни. Но разве участников набирают не добровольно? Или таким образом они добиваются эффекта неожиданности?

Голые ноги замерзли и дрожали, я не могла больше стоять, добралась до постели, рухнула в перину и закуталась в одеяло.

Ах, Додик! Негодяй! Он нашел меня на выставке Шагала.

Я шла по каналу, солнце сверкало, играло, искрилось в каждой рябинке на воде, плескалось в золоте и цветной глазури луковиц самого нарядного питерского храма – Спаса-на-крови. На корпусе Бенуа афиша – выставка Шагала. Я и в музей не собиралась, и к Шагалу пристрастия не имела. На репродукциях он темный. Кривые улочки и домишки, кривые зеленоликие евреи, тупорылые лошади и коровы с теленком в животе и розой на щеке. Сказала: «Не хочу». Но, постояв немного у афиши, решила: а почему бы и нет?..

Иностранцы роились. Служители навязывали магнитофончики с наушниками – личного экскурсовода. У меня задача была иная – пробежаться по залам от холста к холсту, составить общее впечатление, а если не составится – не надо. И первое, на что я обратила внимание – не такой уж он, Шагал, и мрачный. Летающие перевернутые головы, коровы, козы, рыбы, танцовщицы. Похоже, он знал, что означает «потерять голову», оторваться от земли, перевернуть все ногами кверху и посмотреть на перевернутый мир, потому что иначе в нашей нищей в прямом и переносном смысле жизни можно удавиться.

И пресловутые полеты. Его люди летают без всяких крыльев, как наполненные водородом шары, они телесны, но плоть их легка и воздушна.

И любовники! В голубом, в зеленом, в сером...

Настенные часы на фоне ночного спящего предместья, в часах жених с невестой, нежное объятие, оброненный букет. Часы с крылом. Ходит маятник. Это часы их жизни.

Похороны и свадьбы, цветы, курицы, лошади, ослы, художники, музыканты, клоуны, ангелы. У ангела пушатся за спиной бутафорские крылья из гагачьего пуха.

Конец выставки.

В крошечном просмотровом зале показывали фильм о Шагале, но меня это не занимало. Пошла к выходу, однако в последний момент вернулась, чтобы снова посмотреть на шагаловских любовников и кое-что проверить.

Так и есть. Не страсть в их лицах с прикрытыми глазами, не дрожь желания в объятиях. Неизъяснимая нежность и грусть! Страх потерять! Так бывает, когда любовь неподдельная, настоящая, и влюбленные становятся очень чуткими, почти ясновидящими, и боятся, и печалются.

Гигантские фотографии – Шагал и его жена. Ее звали Белла. Так называется одна картина, но на всех остальных тоже она. Видно, он очень ее любил. Хотела бы я быть ею, чтобы так, как у них, и на всю жизнь...

Еще раз полеты посмотрела. Как хорошо им лететь. Их двое. Я хочу быть ею.

А вот он стоит на земле и держит ее за руку, а она парит, как шарик, как птица. У него от счастья такое дурачко-изумленное лицо, какое бывает только у молодых людей, не обремененных ничем, кроме чистой радости и любви. Любовь – это тот самый газ, наполняющий плоть и отрывающий от земли. Если он ее отпустит, она улетит в небеса. Но он не отпустит. Я хочу быть ею.

Есть у Шагала и другие полеты. Для влюбленных не существует земного притяжения. Для Икара – существует. Он падает с огромной высоты. Он упадет и разобьется, у него есть крылья, но нет любви. А еще падающий огненный ангел. Он тоже не спасется, но причины этого мне неведомы, и я не знаю, бесстрастен ли он, добр или зол, кару нес или бунт. С ангелами, наверное, иногда случается то же, что и с икарами.

Уже на набережной меня догнал элегантный парнишка и говорит:

– Я наблюдал за вами на выставке и не мог оторваться. Вы с таким вниманием смотрели на холсты, что я мучился вопросом: о чем же вы думаете?

– Я показалась вам интереснее Шагала?

– Ну, я не первый раз на выставке... У меня интерес профессиональный, я художник. А у вас?

– У меня – просто интерес.

Я свернула на Итальянскую, а он предложил:

– Может быть, зайдем в «Бродячую собаку» на чашечку кофе? Вы были здесь когда-нибудь?

Прошли по сводчатым подвальным зальчикам, увешанным картинами, фотографиями поэтов, художников, артистов, которые очень весело и дерзко справляли здесь сумасшедшие праздники Серебряного века. Но старых росписей не осталось, и дух прошлого не витал. Нам принесли по бокалу красного сухого, от конфет и пирожных я отказалась. Мой кавалер активно пытался выставить себя интеллектуалом, повествовал об истории «Бродячей собаки», перечислял имена, потом перешел на Шагала и говорил какие-то банальности, вроде того, что «искусство – это состояние души». Я спросила, сколько ему лет. Уверял, что тридцать. Я бы дала от силы двадцать пять. Сказал, что зовут его Макс и работает он главным художником в театральных мастерских. Юноша был красивый, стройный, но излишне хрупкий. Я подумала, что лет через пятнадцать-двадцать будет неотразим. А он все пытался произвести на меня впечатление, перечисляя артистов, которым в их мастерской шили костюмы.

– А разве костюмы к спектаклям сочиняют в пошивочных мастерских? Я думала, этим занимаются театральные художники, – с невинным видом сказала я, и он сбился и покраснел. Смущенный он выглядел очень симпатично.

– Да, конечно, но бывает по-разному. К тому же есть еще звезды и звездочки шоу-бизнеса... – Опять пошли фамилии! – Есть праздничные представления. Сейчас я делаю костюмы для самодеятельного театра, который поедет в Финляндию с премьерным спектаклем «Питер Пэн». Вы знаете, кто такой Питер Пэн? – спросил он, и я кивнула.

– Это такой маленький сукин сын, который улетал куда-то от мамы.

Тут он вообще замолчал. А я сменила тему.

– Шагал, наверное, очень любил свою жену?

– Очень. Они прожили долгую жизнь.

– И умерли в один день?

– Нет, она раньше.

– Он больше не женился?

– Женился. Но первой и главной его любовью, его музой, была Белла.

– Кстати, меня зовут Муза, – сообщила я.

Так уж получалось, что я все время ставила его в тупик. Теперь он решил, будто я шучу, и не знал, как пошутить в ответ.

– Это не шутка, вернее, это шутка моих родителей. И не спрашивайте, о чем они думали и чем руководствовались, называя меня таким именем. Мать была художница. И отец с художественными задатками. Но музой матери я так и не стала.

– А как фамилия вашей матери? Может быть, я ее знаю?

– Фамилия распространенная. Андреева. И вряд ли вы знаете ее как художницу, она почти не выставлялась и много лет работала для заработка.

– Вы, конечно, обратили внимание на картину Шагала «Поэт и Муза»?

– Все, что отдает кубизмом, мне не интересно.

Официант принес кофе и зажег свечку на нашем столике в фонарике рубинового стекла.

– Если судить непредвзято, имя у вас приятное и запоминающееся, – неожиданно сказал он.

– Только не надо меня утешать, на этот счет я давным-давно утешилась.

Отчасти я слукавила, потому что всегда хотела иметь простое человеческое имя и не случайно, когда знакочилась с кем-нибудь, представлялась Марией. А сейчас назвалась Музой, потому что начала новую жизнь. Я новый человек, свободный, независимый, без предрассудков, говорю и делаю, что хочу. И неожиданно мне понравилось быть Музой.

Потом мы сидели в скверике у Русского музея, и Макс навязывал мне книгу Шагала, а я отказывалась. Не интересно мне, что о нем пишут и что пишет он сам. Все, что меня интересовало, я увидела. Однако телефон свой Максу оставила.

Утром проснулась и вспомнила Шагала и его влюбленных. И Макса вспомнила, а вскоре он позвонил. Встретились в метро, посидели в кафешке. Книжку Шагала принес. Говорила же – не надо! Спрашивает:

– Так что же такого вы увидели в Шагале, что так пристально разглядывали?

– Давай на «ты»?

Обрадовался.

– Помнишь картину, где синяя ночь в спящем предместье, и часы в воздухе подвешены, а в часах жених с невестой?

Он вспомнил.

– А помнишь крыло у часов?

– У них было крыло?

Крыла не вспомнил.

– Вот я и думала, зачем часам крыло?

– Не знаю. Если есть крыло, значит, они летают. У Шагала много символов, и большая половина родилась из его биографии.

– И что это за символ? Быстротечности времени или вечной, небесной любви?

– Для этого я вам... тебе!.. книжку принес.

А еще мальчик сказал, что я красивая (это разве что инопланетянин не заметил бы, простите за нескромность), в общем, начал наступление, хотя напролом не лез, робел, и это мне нравилось. Я знала, что не хочу летать с ним над городом, а делать я теперь намерена только то, что хочу. Гулять с ним за ручку, вроде бы, глупо, хотя не глупее, чем со старым подполковником кэзбистом. Однако я притормозила ситуацию. Мы встретились всего три раза, правда, по телефону говорили часто. Шестнадцатое мая провели вместе. Это мои именины. Мама всегда отмечала этот день.

Стояла теплынь. Отцветала черемуха. Мы с Максом шли по улицам в людской толчее и реве машин, увертывались от велосипедистов и роллеров, несущихся по тротуару. Потом сидели в ресторане. Он сказал:

– Бабушка говорит, что в ее время машин было мало, пешеходов штрафовали за переход по красному светофору, по улицам можно было гулять и разговаривать, а из форточек неслись гаммы, трансляции футбольных матчей и песен Высоцкого. Жизнь была совсем другая, человечнее, что ли? Я фильмы старые обожаю. У меня прямо ностальгия по старым временам. А у тебя нет ностальгии по прошлому?

– Нет. Я человек настоящего.

Это была предпоследняя встреча. А последняя – в день рождения города. Театральные мастерские, канал Грибоедова, флигель с аркой...

9

То ли сама проснулась, то ли какое-то движение в доме разбудило. Я лежала лицом к выцветшим коричневым обоям и скоро в их узорах высмотрела свернувшегося в клубок кота, голову кролика и фигуру медведя. Но следующая находка относилась не к области фантазий и поразила меня чрезвычайно. По обоям, черт побери, полз клоп! Я окинула стену взглядом и нашла следы от давленных клопов. Однако кто-то обо мне позаботился, кровать была отодвинута от стенки.

Ширму тоже сдвинули, наверно, чтобы кровать была видна для съемки. Где у них спрятаны камеры? В глазу пыльного одноглазого чучела? В перевернутых часах? Наверное, я отвратительно выгляжу! Почему они не боятся, что я могу разоблачить их и подать в суд? А ведь не боятся! И любопытно, платят ли участникам реалити-шоу? Разоблачать их нельзя, по крайней мере, до того момента, пока не выясню, что происходит. У меня должна быть своя игра, правда, для нее нужен кураж. А где его взять, если у меня сотрясение мозга?

Когда дверь в комнату открылась, я сделала вид, что сплю. Я так и не успела продумать тактику, которой следовало держаться. Меж тем ко мне подошли, и я услышала знакомый надтреснутый голос:

– Вот, Афанасий Андреевич, это она и есть.

Глаза я открыла от неожиданности, потому что кто-то похлопал меня по щеке.

– Ну-с, как мы себя чувствуем? Ну-ус?

Это был бодрый старикашка с живыми глазами и жидкой растительностью на голове и подбородке. Он взял мою руку, пощупал пульс и удовлетворенно кивнул.

– Почему же мы молчим? Головка болит?

– Кружится, – ответила я, хотя лежа не испытывала никакого головокружения.

– Ну-с, и что же с нами случилось?

Отвечать я не стала, состроила презрительную мину, мол, нечего придуриваться, сами знаете. Рядом с фальшивым доктором Нусом, как я его обозвала, стояла горбунья, а в дверь просачивались и выглядывали из-за их спин разновозрастные бабки, похожие на дореволюционных кухарок или богаделок, или не знаю на кого.

– И как же нас зовут?

– Вас – не знаю. Меня – Муза.

Переглянулись, лица удивленные.

– Какое сегодня число? – спросила я. – И перестаньте называть меня во множественном числе.

– Двенадцатое мая, – ответил доктор Нус. Похоже, я озадачила его своим вопросом.

– А год?

– Разве вы не помните? Одна тысяча восемьсот шестьдесят второй.

– Я и предполагала нечто в этом роде... – сказала язвительно, и вдруг мне стало скучно. –

И что теперь вы намерены со мной делать?

– Пиявки ставить, – сказал доктор с удивительно искренним простодушием. – И покой прописать. Выглядим мы... вы... вполне удовлетворительно. Однако хотелось бы узнать, кто вы и где живете?

На этот вопрос я не стала отвечать. Доктор с помощью неуклюжей на вид, но ловкой бабенки, усадил меня в подушках, и я закрыла глаза. Я знала, что пиявки лечат все, даже бесплодие, но смотреть на них не хотела. Горбунья шикнула на кухонных бабок, и они тут же исчезли. К моим вискам что-то приложили, и скоро я почувствовала, будто комарики кусают, и поняла: это пиявки присосались, страстно поцеловали меня и не смогли оторваться.

– Где мы находимся? – спросила я.

– В Коломне.

Почему-то я подумала о маленьком старинном городке под Москвой. Я никогда в нем не была. Потом мне показалось, что силы покидают меня. Все поплыло.

– Сейчас я лишусь сознания, – пролепетала я.

– Не лишитесь, – успокоил доктор Нус. – Но, если вас клонит в сон, поспите.

10

Меня с любопытством разглядывало юное создание: кровь с молоком, щеки, как у хомяка, брови – брежневские, ресницы завиваются, и ноль косметики. Платье на ней сидит так, словно сдерживает тело, которое рвется, просится на волю. Улыбается, спрашивает, стану ли я кушать, выбегает в коридор и зовет: «Наталья, Наталья, иди скорее! Она открыла глаза!» В коридоре девочку перехватили и велели ей отправляться в свою комнату. Это была карга с мужским голосом. Но сама она ко мне не зашла, а явилась та самая, внешне неуклюжая, но ловкая, рябая, голубоглазая, которая помогала сажать меня в подушки. «Как же так вас обморочило... Ну ничего, голубушка, тотчас вас устрою, ничего...», – сочувственно бормоча и цокая языком, она начала скручивать бинты с моей головы. Оказывается, у меня была забинтована голова, а бинты в крови.

– Что это? – в ужасе спросила я, вспоминая какие-то фильмы, где в человека вставляют чипы, и он становится зомби.

– Ранки от пиявочек. Уже все прошло, – говорит Наталья ласково, как с ребенком.

– Хочу одеться и умыться.

– Афанасий Андреич не велели вставать.

– Чхала я на Афанасия Андреича!

Наталья почесала голову и удалилась с недоуменным видом, а я раздумывала, неужели принесет мой «императорский» наряд? Пока она ходила, я глянула в окно, там по-прежнему шла театральная жизнь, впрочем, вполне умеренная, статистов – раз-два и обчелся. Опять осмотрела комнату в поисках телекамеры. Чувствовала себя неплохо, наверное, пиявки помогли. Наталья принесла – хоть стой, хоть падай – пышные панталоны до колен на завязках, нижние юбки, белые нитяные чулки, корсет и платье цвета тухлой сливы. А вот туфли были мои, родные. Корсет я тут же отвергла, вырвалась от Натальи и, накрывшись простыней, оделась. Вуаля, уважаемые телевизионщики! Тут Наталья вновь овладела мной: откуда-то достала зеркало и взялась расчесывать и закалывать волосы, как она выразилась, «делать куафюру», а потом над фаянсовым тазом поливала воду из кувшина, и я умывалась. Делала она все умело и расторопно, удовлетворенно цокала языком, выражая удовольствие от результатов своей работы. Пообещала искупать меня вечером, сейчас нет горячей воды. Значит, она будет меня купать, а камера – снимать?

– Интересное кино! – отреагировала я.

Еще Наталья сообщила, что барыня с тетушкой и Анелей уже отобедали и отдыхают. Анеля – та, у которой тело хочет выскочить из платья. Мужиковатая карга – Серафима Ивановна, ее мать и тетка горбуны. Сама горбуня – дочь покойного генерала, владелица этого дома, Зинаида Ильинична Бакулаева. Вот оказывается, что это за фамилия!

Я повертелась перед зеркалом, запустила в волосы пятерню, шпильки дрыснули во все стороны, Наталья ахнула и стала меня корить за то, что разрушила ее произведение, а я встряхнула бронзовой гривой и раскинула ее по плечам. Одежонка, конечно, сиротская, но во всех ты, душенька, нарядах хороша! Это видно было и по тому, как Наталья на меня смотрела. Но если уж мне предстояло очнуться в кем-то придуманном шоу, то почему местом действия не стал, к примеру, Версаль? Там мои внешние данные были бы гораздо уместнее, чем в русской провинции.

Наталья хотела принести обед в комнату, но я потребовала осмотреть дом. Моя комната тупиковая и, как подтвердила Наталья, впрямь служит складом старья. Рядом – черный ход, ведет он в сад. Напротив – комнатуха Натальи, а с другой стороны от меня живет горбуня. Рядом с ней – большая в два окна гостиная (она же столовая, она же зала), комнаты Анельки и ее матери. По другую сторону закрытые комнаты покойных родителей Зинаиды, лестница,

ведущая «в сени» и на улицу, кухня и «девичья» – комната непонятного назначения, используемая для глажки, шитья и прочих хозяйственных нужд. Подготовлено шоу было более чем обстоятельно. Уж если клопов не забыли...

Дверь в Анелькину комнату была приоткрыта, в щели блеснул любопытный глаз. А из соседней появилась собственной персоной Серафима, самое колоритное действующее лицо. Представьте себе Армена Джигарханяна в юбках и чепце – вот портрет старухи. К сожалению, это не был Джигарханян, он в таком дерьме не участвует.

Старуха посмотрела на меня мужскими глазами (от такого взгляда пот прошибает), что-то спросила, не ожидая и не интересуясь ответом, и мы направились в кухню, причем Наталья по дороге испарилась.

Кухня закопченная, в два окна, а света мало. Печка русская, когда-то была побелена, плита – в кафеле. Стоят ухваты рогами вниз, веник, но мусор от дров не заметен. Ушат с водой на полу. На полках медные тазы, сотейники, ковшики и горшки, на чугунах наросты нагара. На плите в большом котле кипятят воду, наверное, для моего мытья. На столе самовар. На веревках – тряпки, судя по всему, многофункционального использования. И по всем углам старухи понатыканы, сколько их – черт знает, они везде. Самой молодой на вид лет пятьдесят, но все равно старообразно выглядит. В этом антисанитарном пищеблоке есть миллион возможностей установить скрытые камеры.

Все с жадным интересом уставились на меня и молчали. Похоже, у них все на высоком уровне: и костюмеры, и гримеры, и бутафоры. Но такого тошнотворного натурализма можно было бы избежать.

Серафима велела налить мне щей и отнести в столовую. Тогда я решила установить свои правила игры. Уселась за стол и заявила, что намерена есть в кухне. Карга хмыкнула и, отпустив в мой адрес какую-то грубость, вроде того, что здесь мне и место, удалилась с гордо поднятой головой. И тут же из дальнего угла донеслось шамкающее: «Аминь, рассыпья!» На беззубую зашикали, а она залилась отрывистым, лающим смехом. Какая-то трюхнутая. Я бессильно опустилась на лавку возле стола, и та старуха, что моложе других, поставила передо мной тарелку со щами, а вторую – с пирогом. Это была Марфа, кухарка. Сама она выглядела опрятно, и стол был чистый, тарелки и ложка не замусоленные. Но не лезли в меня щи, не бывает аппетита пополам с тревогой.

Старухи меж тем заверещали, повыползали из углов, стали меня разглядывать и о чем-то спрашивать. Я болтала ложкой в тарелке, если и отвечала, то односложно. Тогда старухи доложили, что при генерале Бакулаеве, отце Зинаиды, кухня была в подвале, а потом в подвал стали пускать жильцов, и кухня переехала сюда. Затем начали бессвязное повествование о том, как жили при генерале и после, когда он умер, при его вдове... К счастью, пришла Наталья, а вслед за ней – новый персонаж, Палашка – Пелагея, горничная Серафимы. Это была та Палашка, имя которой я услышала в первые часы пребывания в этом доме, и в моем горячечном бреде оно обратилось в «палаш» и «парашу». Маленькая, тощенькая, бесцветная, как моль, похожая на лисичку-альбиноса, она неслышными шагами приблизилась к окну, посмотрела на двор, и вышла вон.

– Палашку стерегитесь, она тут первая доносительница, – предупредила Наталья.

– Мне-то что с того?

– Не скажите, – загадочно произнесла она.

Старухи снова заверещали. Я слушала, но слова долетали будто издалека. Мне все время чудилось: *что-то не так*. И вдруг словно окатили ледяной водой, обжег страх. Что-то определенно было не так и в людях, и в обстановке. Какая-то нестыковка. Иногда казалось, переигрывают, но вся штука в том, что они вообще не играли! Эти люди не были актерами. И они были другими, не такими, как я. Лица у них были другие и выражение лиц, они говорили иначе, мысли формулировали иначе, они думали иначе, все было иное. И чересчур натураль-

ные декорации не были декорациями. Нельзя подделать бытовую обстановку до такой степени, чтобы ни одна ниточка не вылезла. Какая-нибудь мелкая деталь все равно выдаст! И ничего я здесь не узнаю, не пойму, никто ничего мне не объяснит. Разгадка за порогом дома, на улице. Я швырнула ложку и побежала вниз, к входной двери. Откинула крюк и выскочила из душного дома, как в прорубь прыгнула.

Не знаю, куда я бежала, наверное, была не в себе. Я рассчитывала найти объяснение происходящему, но и здесь его не было. Меня окружала какая-то старозаветная провинция с лошадьми и повозками, с людьми в немыслимой, театрально-убогой одежде. И этот люд от меня шарахался! А вслед спешила Наталья и пыталась набросить на меня пелерину, которая падала с плеч. Наталья подхватывала ее и снова преследовала меня. Все это было похоже на ужасный сон, а, может, это и был сон. Я мчалась в клубах пыли по разрытой улице, которую мостили камнем. Я не верила своим глазам. Выскочила к реке в гранитных берегах. Что-то в глубине души екнуло, берега и решетка напоминали канал Грибоедова, но внутри берегов все было набито лодками и мусором, по набережной тянулись низенькие домики и пустыри, заросшие деревьями и молодым бурьяном, под ногами вместо асфальта лежал булыжник, и я все время спотыкалась.

И вдруг, словно занавес распахнулся: передо мной выросла колокольня Никольского собора, за ней сам собор! Тут я ошибиться никак не могла. Значит, «речка», по которой я шла, действительно была каналом Грибоедова. Здесь его пересекал Крюков канал, а широкая улица была Садовой. Вдоль нее – типичный гостиный двор с арочными галереями, залепленный вывесками лавок, а перед ним толчея! Никольский рынок?! И я поняла, о какой Коломне шла речь – о петербургском районе, что лежит за Крюковым каналом. Схватила за решетку набережной – боялась упасть. Рыхлое серое небо, застывшие отражения в воде. Это не было шоу. Или я сошла с ума, или все происходило взаправду.

Подросла Наталья со своей пелериной, что-то лопотала, а у меня в голове билось: «Не может быть! Не может быть!» А потом: «Я знаю дорогу!»

Помчалась вдоль канала. Вскоре он изогнулся и открылся висячий мостик с чугунными львами на пьедесталах, крашеными под мрамор, с металлическими цепями, с фонариками посреди пролетов, с деревянным настилом. Я была на правильном пути, ноги сами несли меня вперед, к злосчастному флигелю. Я хотела вернуться домой. Меня окружал знакомый-незнакомый город. Но более незнакомый, чем знакомый. Я бегала от подворотни к подворотне, вдыхая пыль и запахи нечистот. Я металась в переулках и уже подозревала, что на нужную арку могу наткнуться только чудом. Я взмолилась, чтобы оно свершилось. Угрюмое небо наваливалось все ниже, словно перевернутая чаша, словно раскрытый зонтик или медуза с тонкой колеблющейся бахромой по краям. Кругом шел дождь, а я находилась на сухом островке.

Я уже не надеялась выбраться из своего кошмара, отчаялась, я была в капкане города-призрака. Никогда не воспринимала Петербург, как призрачный город. Мой Петербург был четкий и определенный, призрачным был этот, сквозь который я продиралась. И люди – рой призраков, они пугали меня, некоторые сами пугались, другие любопытствовали, а я трепетала под их удивленными и холодными, недобрými и равнодушными взглядами. Потом и люди-призраки куда-то исчезли. Все стало расплывчатым, а тело ватным, я прислонилась к стене и стала сползать. Тут небесный зонтик закрылся, меня настиг дождь.

Я видела, как Наталья остановила извозчика и что-то ему втолковывала, а потом посадила меня в тряскую повозку, и я оказалась в том же доме, где очнулась вчера и проснулась сегодня утром. С меня снимали мокрое платье, а я почему-то вспомнила книгу «Рукопись, найденная в Сарагосе». Там герой мистически возвращается к одному и тому же месту, от которого бежит – к виселице с мертвецами.

11

В комнате разговаривали. Еще не осознав, кто и что говорит, я все вспомнила, и меня пронзила недавняя убийственная мысль, что все происходящее со мной не розыгрыш, не телеигра, а ужасная и необъяснимая правда. Я провалилась в какую-то временную яму? А может быть, умерла? Может быть, так выглядит загробный мир? Но я казалась себе живой, и для подтверждения пошевелила большим пальцем ноги. Шевелится. Это меня почему-то рассмешило, и, возможно, я хихикнула, потому что они поняли, что я не сплю.

– Ну-ус, – произнес занудный голос доктора, – как мы себя чувствуем после экстравагантной прогулки? И куда это мы бегали?

– Не помню, чтобы мы с вами куда-то бегали, – ответила я с сарказмом и обратила внимание, как окреп мой голос. – Но если вы мне напомните, какой нынче день, месяц и год, буду признательна.

– Девятнадцатое мая тысяча восемьсот шестьдесят второго года, – растерянно отрапортовал он. – Снова запамятовали?

Ничего не изменилось. Реальная и жуткая фантастика, посильнее, чем 86 марта. И Додик здесь не при чем, и престарелый кагэбэшник, и все прочие. Но неужели пыльная Коломна, черт знает какого года и века – мое настоящее? Так не бывает! Или это временное настоящее? Или ненастоящее настоящее?

– Где ваш дом? – сочувственно спросила горбунья Зинаида. – Как ваше имя? Вы можете сказать, где живете?

Я представила, что будет, если я назову свой адрес. Дом, в котором я родилась, жила и который много лет встречал меня дружеским «salve», построен в девятьсот третьем году. Значит, у меня не было дома. Еще не родились мои мама с отцом!

– Не помню. Ничего не помню, – сказала я, чтобы меня не сочли сумасшедшей.

И началось:

– Как же так?

– Неужели ничегошеньки-ничего?

– Такое бывает? – поинтересовалась горбунья у доктора, а тот только руками развел.

– В моей практике подобного беспамьятства, исключая старческое слабоумие, не встречалось. Прелюбопытный случай. Будем наблюдать. А сейчас хорошо бы нашу больную напоить горячей ромашкой с ромом.

Горбунья отдала распоряжение о ромашке с вином, потому что рома не было, а потом утешила меня:

– Вас непременно кто-то ищет. Афанасий Андреевич дал объявление в газету, уж скоро кто-то да откликнется.

Афанасий Андреевич, то бишь доктор Нус, велел мне лежать в постели, и они удалились. А я тут же встала. В комнате было сильно натоплено. Попыталась открыть окно, но оно не поддавалось, и форточки не существовало. На улице была явная непогода, дождь шел, ветер мотал ветви и верхушки деревьев. В доме напротив гуляли, даже при забытых двойных рамах я слышала приглушенные звуки фортепиано и шум. Меня навестили Анелька с матерью. Серафима недоброжелательно рассматривала меня, словно я зловредное насекомое. Девчонка проявляла сочувственный интерес, но веселье у соседней волновало ее еще больше. Она так и приклеилась к окну, но мать ее быстро увела.

Потом меня сморило, и я позволила Наталье уложить себя в постель. Она сокрушенно цокала языком, качала головой, изрекла нечто вроде: «Ну и делов с вами», – и зажгла курительную свечку. Это у них вместо проветривания.

– А что ты сказала вчера извозчику, который привез нас сюда?

– Что есть, – ответила Наталья. – Что барыня не в себе, надо ее домой.

По-крайней мере, хоть она считала меня барыней.

– Ах ты, моя незабудочка, – ласково пошутила я.

– Почему «незабудочка»? – опешила Наталья.

– Посмотри в зеркало! – Она пошла к зеркалу и посмотрела на свое рябое лицо. – Не поняла? Глаза у тебя, как незабудки.

Смутилась, но я отметила: доброе слово и кошке приятно.

После курительной свечки, а также изрядного куска кулебяки, ветчины и полновесной рюмки мадеры, прописанной доктором Нусом, я быстро заснула. Разбудил меня разговор за стеной, который велся на повышенных тонах.

– Разве я попрекала вас когда? – возмущенно спрашивала Зинаида.

– Не на словах! А в глазах попрек постоянный! Бог накажет тебя!

– Уже наказал! Вами!

Тут я стала искать под кроватью ночной горшок – да-да, такие там нравы! – и пропустила некоторую часть ругани, зато включилась в нужный момент:

– Неужели ты настолько безголова, что позволишь себя дурачить всякой комедьянтке? – возмущалась Серафима. – Я бы ее квартальному сдала, пусть бы и разбирался.

– Это выше моих сил! Вы несносны!

И тут, на самом интересном месте, Зинаида, всхлипывая, выскочила из комнаты.

Не могу сказать, чтобы эта заварушка произвела на меня сколько-нибудь серьезное впечатление. А вообще-то мое тогдашнее легкомыслие можно объяснить только стрессом, но было оно спасительным, иначе я бы просто рехнулась от ужаса.

Как-то само-собой вышло, что весь день я провела в постели: дремала, благосклонно принимала пищу, питье и говорила с Натальей. О распре между Зинаидой и ее теткой ничего выведать, кроме очевидного, не удалось: Серафима «деспотка», «бранчлива» и «всех хочет сгнобить». Наталья ловко увернулась от опасной темы, переведя разговор на соседний дом, где живет купеческая вдова по фамилии Колтунова с двумя дочерьми на выданье. Раньше Анелька туда бегала, и Серафима захаживала, а теперь поссорились, и Анелька очень скучает. Причину ссоры Наталья тоже назвать не хотела, отвечала уклончиво, будто генеральская племянница Колтуновым не чета, а потом обмолвилась – вся ссора из-за жениха.

Зашла Зинаида, немного смущенная, возможно, подозревала, что я слышала перебранку. Спрашивала, не вспомнила ли я, кто такая.

– Решительно не пойму, как же это с вами случилось...

– Потеря памяти называется амнезией, – произнесла я назидательным тоном. – Происходит это от травмы, душевной или физической.

По моей просьбе она рассказала, как ехала с Анелькой по Большой Мещанской улице, как увидели меня, лежащей в подворотне, как внесли в экипаж и привезли домой. Когда она описывала, как я лежала на спине, бледная, словно полотно, с разметавшимися волосами, голос ее так дребезжал, что я подумала, вот-вот заплачет. Но нет, сдержалась.

– Вы помните то место, где подобрали меня? Отведите меня туда, давайте завтра сходим. Если я там окажусь, может, ко мне память вернется...

Она тут же согласилась, только сказала, что мы поедем, пешком – далеко. А я думаю, не так уж и далеко.

– Но как же не помнить, какого вы роду-племени, есть ли у вас муж, дети, счастливы вы или несчастливы? Как же так?

– Были бы у меня дети, наверное, помнила бы. Впрочем, не знаю. А то, что была несчастлива – это вряд ли.

Тут горбунья сказала что-то вроде: «Ну, конечно, такая красавица...» И тогда случился глупый и неприличный с моей стороны разговор на тему: не родись красивой... Сказанув что-

то, я пыталась поправить дело негодными рассуждениями о том, что счастье – состояние не постоянное, человек не может быть счастлив круглосуточно, и вообще это зависит больше от внутренних причин, чем от внешних и, очень возможно, что счастливыми или несчастливыми рождаются. В общем, чем дальше, тем хуже...

– Странные слова вы говорите, – горестно вздохнув, сказала Зинаида.

– Что же странного? Допускаю даже, что счастье – свойство характера. – Я все еще пыталась исправить бестактность. – Хотя мое нынешнее положение иначе, как несчастьем, не назовешь...

Разве последние слова не были правдой? Однако где-то в глубине души у меня таилась уверенность: я живу – это уже счастье. До последнего момента я надеялась очнуться от дурного сна, проснуться утром в своей комнате. Только почему я решила, что сон такой уж дурной? Я не в тюрьме, никто надо мной не издевается, не мучает, не пытается. Во всей этой истории меня больше всего томило непонимание того, что случилось. Как можно войти в подворотню, а выйти из нее полтора столетия назад? Впрочем, если разобраться, это не единственное, чего я не понимаю. Не говоря уж об устройстве Вселенной, некоторые вопросы школьной программы для меня совершенно неразрешимы. Из всех мыслей о моем приключении самая здравая была о безумии. Спросила горбунью:

– Похожа я на сумасшедшую?

Она посмотрела на меня своим долгим внимательно-печальным взглядом и покачала головой.

– Вы справедливо говорили о счастье, – неожиданно сказала она. – Одни люди всю жизнь плачутся, жалуются на судьбу, а другие не потекают унынием.

Она выглянула в коридор, позвала Наталью и велела принести мою одежду.

– Это то, в чем вас нашли. Все вычищено. Посмотрите, – попросила она, – может, чего вспомните?

– Самой царице такое носить не зазорно! – сказала Наталья и бережно положила на кровать произведение театральных мастерских Додика, оно топорщилось кринолином и дрожало оборками.

– Хорошо уже то, что я не воображаю себя Екатериной Великой!

Наталья засмеялась, и горбунья улыбнулась.

– А это что же?

Наталья положила на платье трусы, а я изобразила удивление и ответила вопросом:

– Наверное, что-то вроде усеченных панталон?

– Я доверяю Натальиному чутью, – вздохнув, сообщила Зинаида. – Она сразу сказала, что вы не из простых. Да я и сама это вижу, сразу понятно. А тетушка настаивает послать Егора в театры, разузнать, не пропал ли кто из французской или итальянской труппы...

Тут она завернула что-то по-французски, что я, естественно, понять не смогла, зато выдала все, что знала:

– Шерше ля фам! Парле-ву франсэ?

– Когда-то меня учили, – отозвалась Зинаида. – Но я все забыла. С кем мне здесь болтать по-французски? Пригласили Анельке учителя, так она заболела, а потом наотрез отказалась учиться. Ей занятий по музыке с лихвой хватает.

– Вот и я, похоже, забыла французский. Если знала...

– Может, по-итальянски?

– Подозреваю, бедная фемина и по-итальянски не говорит. А что доктор обо все этом думает?

– Когда он был лекарем в полку, случился у него один раненый капитан, который себя не помнил. Так он вскоре концы отдал.

– Если завтра не будет дождя, – сообщила Зинаида, то в комнатах станут зимние рамы выставлять, вот тогда-то мы и поедем на поиски подворотни.

Еще раз Зинаида пришла ко мне, когда весь дом уже спал.

– Есть у меня голубок, – сказала она. – Хочу вам показать. Подобрала его со сломанной ножкой, распрямила ее и к щепочке прибинтовала. Ножка срослась, а голубок в клетке живет и по комнате летает, совсем ручной. Только его, должно быть, выпускать положено, он летать должен на воле, а боюсь: выпущу – не воротится. Как считаете?

– Голуби обычно прилетают домой.

– Так я не знаю, где его дом. Он не обычный голубок, не уличный.

– Вроде меня! – Я засмеялась, а она нет, и взглянула чуть ли не укоризненно.

Я накинула хламиду, которую мне презентовали в качестве халата, надела вышитые тапочки, и мы пошли в соседнюю комнату. Она была больше моей. Два окна, уставленных комнатными цветами, между ними высокое и стройное трюмо в изящной оправе, на столешнице флакончики и фарфоровая шкатулка с выпуклыми цветочками. Печь выложена белыми фигурными изразцами. Большой гладкий шифоньер красного дерева. Комод. В углу киот с иконами, под ним – горящая лампада. На постели много подушек в наволочках с кружевными вставками. Бюро с чернильницей и книгами. Столик для рукоделия с коробочками и корзиночками, где лежали лоскутки, ленточки и цветные нитки. В блюдах – бисер разного цвета. На стенах, кроме симметрично развешанных гравюр, вышитые картинки. Возле рукодельного столика подобие мольберта с пальцами.

– Покровец для нашей церкви вышиваю.

Она показала на незаконченную вышивку бисером: крест, а вокруг орнамент. Потом откинула шаль на большой клетке, там затрепыхался белый, как снег, голубь.

– Я зову его Бельшом. Он ко мне привык, и я льщу себя надеждой, что он меня любит. Если б завела чижа или канарейку, то не мучилась бы, – вздохнула Зинаида. – Держала бы в клетке, и выпускать не надо.

– Положитесь на судьбу. Я думаю, он к вам вернется.

– Почему-то я верю вам, – сказала Зинаида. – А наш дом, наверное, кажется вам неприветливым, мрачным? Не надо вежливость соблюдать, говорите, как есть.

– Я же и не видела его как следует. Но мрачным он мне не кажется. Для меня это добрый дом.

– О нет. Я знаю, дом не ухожен и печален, не то, что при матушке. С нею отсюда ушла жизнь. При ней было все, а теперь ничего.

– Почему же вы не наполните дом жизнью? У вас племянница на выданье, это ли не жизнь?

– Не так все просто.

Я даже удивилась, как быстро мы с Зинаидой нашли общий язык. В первый же вечер! Говорили осторожно, словно на цыпочках подбирались друг к другу. И был еще в наших разговорах милый смешной, давно забытый оттенок: так девчонки, школьные подружки беседуют меж собой. Только что тайнами своими девчачьими пока не делятся, не пришло еще время. И еще я подумала, что Зинаида чрезвычайно одинока.

– Как-то надо вас называть, – сказала она. – Неловко без имени обращаться.

– Зовите Музой! Годится?

– Чудно. А по батюшке как же?

– Никак. Просто Музой. Мне нравится это имя. А я буду звать вас Зиной. Согласны? И хорошо бы, Зина, нам перекусить. Как вы на это смотрите? – бодро спросила я.

Снова внимательно-настороженный взгляд. Выглянула в коридор, стукнула своим маленьким кулачком в комнатушку напротив, и Наталья явилась тотчас же, как лист перед травой. Услышав о перекусе, она удивилась, а Зинаида стала наставлять ее, как добыть пищу,

чтобы об этом не проведала тетушка. Я попыталась спросить, почему надо скрываться от тетушки, ей жалко еды? Зинаида сказала: «Она сочтет это неприличным». В общем, напрасно я спрашивала, могла бы и сама догадаться: Зинаида не хочет, чтобы тетка узнала о ее ночном кутеже с «комедьянткой». А меж тем Наталья принесла половину холодной отварной курицы, пирог с ягодами и мадеру в графине.

– Это-то зачем? – возмутилась Зинаида, увидев вино.

– Доктор велел.

– В самом деле... – неуверенно отозвалась Зинаида. – Так принеси посуду.

Все это мы поедали вдвоем у Зинаиды в комнате, говорили шепотом, заговорщицки переглядывались, опасаясь визита старой мегеры. Горбунья виновато хихикала. Как я поняла, таких шалостей в ее жизни раньше не случалось. Настоящее приключение! Бедная Зинаида!

Долго я не могла заснуть. И вдруг мне пришла в голову мысль: они же здесь живут по юлианскому календарю, то есть по старому стилю! Но тогда я должна была оказаться здесь в июне! Ничего не сходилось. Впрочем, не все ли равно, когда я прибыла, завтра мне предстояло отбыть, а там, дома, будет последний день календарной весны.

12

Когда-то давно с моим покойным мужем Иваном пошли мы за грибами и заблудились. Уже смеркалось. Он шел впереди по горкам и низинкам, прокладывая путь через болотные кусты, похожие на спутанную проволоку, нервничал из-за меня, а я испытывала удивительное чувство, похожее на счастье. Я обожала это ощущение неизвестности, приправленной опасностью, но не настоящей, ведь я знала, что в конце концов мы выйдем из леса, все-таки не тайга, и медведей или волков мы не встретим, в крайнем случае – лося. И я не хотела, чтобы мы быстро нашли дорогу, даже устав, я длила в себе ожидание того, что предвидеть нельзя, и того, что можно: радости вернуться после приключения к обыденному, которое станет на время привлекательным. Разумеется, мы вышли из леса, появился огонек и я радовалась, что идти к нему нужно через долгое поле. Огонек был в окне фермы, а потом шоссе, а потом грузовик до города...

Подобные случаи со мной происходили всю жизнь. Даже во сне я блуждала по незнакомым городам, и случалось, бродила по ним неоднократно, потому что узнавала улицы. Иногда я знала, как называется город, иногда – нет, но к реальности это в любом случае отношения не имело. Я ведь и по Петербургу ходила во сне, но он не был похож на город, в котором я жила. На этот, нынешний, он тоже не походил.

Даже с закрытыми глазами я по запаху, по особой тишине ощущала, что по-прежнему нахожусь в проклятой Коломне. Было раннее утро. Дождальась, пока часы в гостиной пробили шесть. Повторяя про себя: «Хочу домой!», – попробовала заплакать. Не получилось. Интересно, что присутствия отчаянья я в душе своей не обнаружила. Если только меланхолическую печаль...

Пошла в кухню и по дороге уяснила, что кухонные бабы спят и в коридоре на ларях и скамейках, и в самой кухне. Но спали не все. Марфа ставила самовар. Налила мне квасу, я попила и пошла досыпать.

Кто-то заглядывал ко мне, но окончательно разбудили стук и разговоры за стеной, а потом явилась Наталья, чтобы заняться моим туалетом. Получалось так, что теперь у нас с Зинаидой была одна горничная на двоих.

В соседней комнате начали выставлять зимние рамы. Я думала о поиске подворотни. Я не представляла, где эта Большая Мещанская, но что-то внутри меня в нетерпении дрожало и пело. Понятия не имею, откуда она взялась, эта уверенность, только я знала, что уже сегодня буду дома. Не знаю как, но скоро я вернусь в свой Петербург, в свое время.

Погода чуток разгулялась, солнце загадочно просвечивало сквозь облачную пелену. Я заглянула к Зинаиде, где бородатый дворник Егор, немолодой крепыш-коротыш, уже вынул внутренние рамы и распахнул окно. Пришли деревенского вида девушки (их наняли мыть окна и полы), но Зинаида отослала всех в мою комнату, а сама села возле клетки с голубем и спросила, не глядя на меня:

– Ну, что ж, не вспомнили, кто вы?

Вчера мы с ней чуть не подружками стали, а сегодня ее словно подменили. Взгляд недоверчивый, в разговоры не склонна пускаться. Возможно, сочла, что была излишне откровенна и любезна, и раскаялась. А может, тетка о тайном ужине проведала и устроила ей выволочку. Голубь, когда я его рассмотрела, действительно оказался не обычным, не таким, как дикие сизари. Пропорции иные, хвост и ноги коротковаты, а клюв и шея толстоваты.

– Да, голубок-то особенный, – сказала я. – Не похож он на дикаря. И дело даже не в окраске. Это какая-то благородная порода.

– Несомненно, – голос Зинаиды потеплел. – Смотрите, что сейчас будет.

Она открыла клетку, сунула туда руку и, вынув голубя, поднесла к приоткрытым губам. Голубь приник к ним своим толстым клювиком и пощипывал их, так что складывалось полное впечатление, будто они целуются.

– Потрясающе! – Мое восхищение было немного наигранным, просто я заметила, что Зинаида оттаивает, когда я хвалю голубя, и в выражении лица появляется открытость, и в голосе доброжелательность. – Он совсем ручной!

– Может быть, сегодня его не отпускать? Подождать до завтра?.. – спросила она жалобно.

– Если решили, не надо откладывать. Вы хотите узнать, вернется он или нет? Так узнайте! – Зинаида гладила голубя по головке, спинке и целовала. – Смелее, – вкрадчиво сказала я. – Он обязательно вернется. Хотите, я его выпущу?

Я распахнула окно, и холодный воздух хлынул в комнату. Как они затхло живут! Зимой вообще не проветривают, а дымят ароматической свечкой, которая пахнет паленой газетой.

– Подождите, – попросила Зинаида, снова посадила голубя в клетку и стала рыться в каких-то коробочках-шкатулочках.

Я испытывала нетерпение и раздражение. Мы никогда не покинем этот дом! Но вот Зинаида нашла, что хотела, шелковую ленточку. Сняла с тоненького, словно детского, пальчика золотое колечко, продела в ленточку и повязала голубя на шею. Совершенно излишне, на мой взгляд. Я наблюдала молча, а она вынула голубя из клетки, понянькалась, поцеловала в клювик. Я распахнула окно, и она понесла его на вытянутых руках, но голубь не летел на волю. Руки у Зинаиды дрожали от напряжения.

– Не улетает, – обрадовалась она. – Не хочет со мной разлучаться.

– Может, у него от домашней жизни крылья атрофировались? Подбросьте его.

В первый момент мне показалось, что голубь падает, но он взмыл, сделал круг, другой, и полетел выше и выше.

– Он не вернется!

Зинаида заплакала. Теперь надо было дать пережить ей горькие минуты расставания и отправляться на поиски злосчастной подворотни. Но Зинаида никуда не спешила. Она уселась возле окна и, видимо, намеревалась просидеть здесь до возвращения голубя, даже если это случится накануне второго пришествия. Стараясь скрыть возмущение, я пригрозила:

– Тогда я пойду одна. Но где эта улица и где подворотня, я понятия не имею. И вообще не знаю, что со мной может приключиться! Пусть это будет на вашей совести.

Зинаида тупо молчала, уставившись в том направлении, куда улетел голубь.

– Голуби летают часа по четыре, а бывает, и дольше, – заметила я, хотя не знала, как долго они летают. – На всякий случай, надо посадить у окна Наталью, а самим отправиться на поиски подворотни. Так и время быстрее пройдет.

В моей комнате уже мыли окна. На улице было градусов десять-двенадцать, не больше. Зинаида покидала наблюдательный пост с тяжелым сердцем и утомительно долго давала наставления Наталье, как вести дежурство. Дел у Натальи было невпроворот: следить за уборкой, караулить голубя, а для начала одеть меня. Вчерашнее сиротское платье и перчатки, без которых, видите ли, неприлично выйти из дома, были из гардероба Анельки. Пелерина и дурацкая шляпка – от Зинаиды.

На улице показалось теплее, чем в комнатах. Странные чувства вызывал у меня Петербург. Все иное и иначе. Кое-чего я просто не понимала, но о многом, увидев, догадывалась, словно во мне была заложена генетическая память. Самое смешное, что в этом удивительном городе, должно быть, сейчас жили мои предки по матери – Андреевы. Казачинские (по отцу) – из Сибири. Знания мои о предках были минимальны и расплывчаты.

Из тихого захолустья, где и экипажи ездят не часто, мы вышли на оживленную Садовую. Яркая театральность и своеобразная красота окружающего, убогость и грязь, все смешалось.

Лавчонки и трактиры. Коренастые фонари. Увидев пьяную беременную бабу у кабака, думала, это зрелище долго будет стоять перед глазами. Ничего подобного. Самые разнообразные картины мелькали передо мной, и живые, и нарисованные. Завораживали пестрые вывески, с самоварами, колбасами, окороками, арбузами и яблоками, хлебами и калачами, а также ножницами, мундирами, сапогами и т. д. На табачной лавке – индеец в перьях с деревянно-отставленной рукой, в которой, подобно Везувия, дымится сигара. В окне цирюльни банки с пиявками, а на вывеске надпись: «Здесь стригут и бреют, рвут зубы и кровь отворяют». И картина: с задумчивым видом сидит разряженная барыня, опершись на трость, в то время как некий франт в синем фраке и панталонах желтого попугайского цвета пускает ей из локтевой ямки кровь, бьющую фонтаном в тарелку, которую держит мальчик. Наверное, никто не собирает этих милых и наивных петербургских Пиросмани, веселящих глаз.

Вокруг Никольского рынка толкотня. Телеги, пролетки, кареты, крики извозчиков. У них здесь стоянка. С трудом уговорила Зинаиду идти пешком. В галереях все лавки пронумерованы, и фамилия купца написана. Стены, словно заплатами, покрыты вывесками. Приказчики заывают: «Пожалуйста к нам!» Снуют торговцы-разносчики, у кого-то товары навалены прямо на земле, на рогоже. Человек с глубокой плетеной корзиной на ремнях орет:

– Подайте в пользу ночлежного дома! Пожалейте бесприютных! – В корзине зелень и кости с мясом, какие у нас продавали для собак. Подходит баба, еще что-то добавляет. – Господь вас спаси и помилуй!

Зинаида пытается меня увести, тянет за руку, а меня окружающее прямо гипнотизирует.

Одежка людей живописна. Одни прилично одеты, но гораздо больше простонародья: поношенные шинели, подпоясанные кушаками суконные халаты, а встречаются совершенные лохмотья. Кое-кто в лаптях, есть даже босые, однако видела и в валенках. Зимние шапки на мужиках тоже видела, и полушубки овчинные, под которыми голая грудь. Кто во что горазд. Весна, конечно, у них запоздалая, но все равно странно: то ли надеть нечего, то ли, как говорится «жар костей не ломит».

Некоторые стоят с потеряннным видом, с котомками, с узелочками в руках. Мужики с топорами и пилами. Кто они, чего здесь толкуются? Оказывается, сюда приходят те, кто ищет место, на работу нанимается. То есть – биржа труда. Большинство – из деревень. Вероятно, у меня такой ошарашенный вид, что Зинаида интересуется, неужели я раньше здесь не бывала?

Продают рубец, печенку, жареную рыбу. Парень пытается втридорога всучить кому-то незрелую вишню, а потом вдогонку орет:

– Вернитесь, уступаю!

– А какая ваша цена?

Монахини. Низко кланяются и гнут:

– Смилуйте для обители святой по копеечке...

Под ногами крутятся совершенно обнаглевшие голуби, тоже кланяются, клюют рассыпанное там и здесь зерно. Страшный на вид мужик зычным голосом оповещает:

– Кусок щековины всего три копейки!

– Дорого, отдай за две! – просит старуха, замотанная платком.

Щековина – это щеки бычьих голов. Тут же варят в огромном котле похлебку из этой щековины и прочей требушины. Воняет варево тошнотворно. Под ногами вертятся собаки, ждут, не обломится ли чего. И здесь же, у канала, стоя под навесами, люди едят за засаленными столами из глиняных плошек деревянными ложками.

Наконец Зинаиде удастся меня увести, но я не сожалею, потому что тут же переключаюсь на что-то новое.

Издали узнала пожарную каланчу (дом сохранился до моего времени). Верхнюю ее часть опоясывает балкончик, по нему расхаживает дозорный. Венчает каланчу высокий шест с рас-

пялкой, а на ней висят, нанизанные на веревку, шары. Глядя на них, Зинаида сказала, что горит в Рождественской и Литейной части, и я поняла, что определила она это по количеству шаров.

Сенную украшает роскошный собор (на месте нашего метро). Здесь такой же шум-бурум, как на Никольском. Рядами стоят дюжие ломовики с возами сена. Кухарки с корзинами спешат на базар и с базара. Мы отмахиваемся от пирожников, калачников и прочих добрых молодцев в передниках, с тележками, с лотками на груди и корзинами на голове, полными кренделей, пирогов и бубликов. Эти тоже дерут горло, нахваливая свой товар.

Зинаиде наша прогулка совсем не нравится. Я стараюсь поменьше спрашивать, но с трудом сдерживаю напавшую на меня болтливость. Возбуждение мое усиливается вместе с открытием удивительной способности узнавать и называть вещи, с которыми я никогда не сталкивалась. Такое впечатление, будто подобные знания хранятся где-то в глубинных кладовых сознания и никогда не всплыли бы в другой обстановке. Это генетическая память! Говорю Зинаиде: «Тот мужик в армяке, который торгует дышлами...» Она не понимает, о ком я. Однако оказывается, мужик совсем не в армяке, и торгует он совсем не дышлами, а шлеями...

От Сенной сворачиваем в переулочек, но Зинаида тут же тянет меня назад. По переулочку движется процессия, и я застываю на месте, не в силах оторваться от удивительного зрелища. Мне все ясно, хотя ничего подобного я даже представить не могла. Это каторжане. В серых куртках и шапках, гремят кандалами. А за ними на повозках жены и дети. Оказывается, здесь рядом пересыльная тюрьма, теперь этих людей ведут к вокзалу, чтобы доставить до Москвы, а оттуда пешком, по Владимирке, в Сибирь. Народ, особенно женщины, подают ссыльным милостыню, суют в повозки бабам и детишкам булки. А я вглядываюсь в заросшие щетиной лица, в глаза этих людей.

– Вот несчастье, – говорю Зинаиде, но для нее подобные картины не новость, и глядеть на горемык ей не хочется, гораздо больше ее занимает моя реакция, смотрит на меня настороженно.

– Полагаю, и здесь вы впервые, – говорит она.

А потом мы идем по улочкам Достоевского, но ничего конкретного я не узнаю. Бульжная мостовая, дома в три-четыре и даже в пять этажей, темные подворотни, грязные дворы-колодцы. И что я высматриваю? Уютный домик с рыжим котом и с геранью в окнах? Так он остался в двадцать первом веке, если он здесь и существует, то выглядит иначе. Многие дома и перекрестки кажутся знакомыми. Где-то здесь дом Раскольникова, но я его не найду, ведь на нем нет мемориальной доски и чугунного рельефа с писателем, спускающимся по лестнице. На одном похожем перекрестке я пытаюсь поймать тот эффект, о котором говорила экскурсоводка: ощущение замкнутости, безвыходности, когда взгляд упирается в стены домов. Смотрю по сторонам и ловлю это ощущение на каждом перекрестке. Бермудский треугольник! Спрашиваю Зинаиду, где же эта Мещанская, а она и сама не знает, справляется у дворника. И вот мы у цели. Но Зинаида не может найти подворотню, возле которой меня подобрали, и мы бродим по улице вперед-назад.

– Похоже, вот эта, – наконец говорит она.

Во двор захожу в смятении. Мелькает мысль, что через миг могу очутиться дома, но, оказывается, я не совсем уверена, что хочу этого. Конечно, хочу, но экскурсия по старому Петербургу была слишком короткой, я ведь даже на Неву не вышла и на Невский! Однако во дворе, куда мы попали, не оказалось прохода в следующий, или на другую улицу. Это был не тот двор, не та подворотня! И тут я испытала горестное разочарование и страх, что могу остаться здесь навсегда. Такие противоречивые чувства терзали меня.

– Неужели я ошиблась? – недоумевала Зинаида. – Быть не может! Или может?

– Со мной все возможно! – На меня напал припадок нервного смеха, а потом пришла в голову мысль, что окажись этот двор тем самым, я попала бы к себе домой с Зинаидой! И что бы я делала с ней? И вторая отчаянная мысль: если существует эта волшебная подворотня, то люди

ходили бы из века в век почему зря, туда-обратно, туда-обратно. Вряд ли я такая особенная, что для меня путь открыт, а для других закрыт. А ведь получается, что особенная!

Я стала проверять все встречные подворотни, заходила во дворы, чтобы узнать, проходные ли они. Зинаида сопротивлялась, дворники подозрительно на нас смотрели и спрашивали, кого нам надо.

Зинаида устала и еле плелась. Я тоже устала, но не от беготни, я была сломлена морально. Зинаида пребывала в мыслях о своем голубке: прилетел – не прилетел. Извозчика мы не добыли до самой Сенной.

– На все воля божья, – вздохнув, сказала Зинаида.

Обо мне или о своем голубе она думала, понять трудно. Однако в ее словах был смысл: пусть все идет своим чередом, авось, куда-нибудь да вывезет. Что суждено, то случится, и теперь мне казалось, что должно это случиться внезапно, когда я и ждать не буду. И рыпаться нечего. Однако я чувствовала, что завтра опять стану бродить в окрестностях Сенной. И после-завтра. Снова и снова.

13

В доме было свежо, пахло мытыми полами, а окна стали так прозрачны, что кажется, скрипели. Моя комната приятно преобразилась. На окне свежие кисейные занавески и горшок с розовым бальзамино. Хлам вынесен, зато появился туалетный стол с зеркалом, мраморной столешницей, тазом и кувшином, полосатый диван, стол и стулья, и предметы роскоши: массивный подсвечник на четыре свечи и чугунный вздыбленный конь. А кровать – голая, без перины и белья.

Наталья сказала, что кровать мою собственноручно пролила кипятком и сейчас застелет. А Бельш прилетел через час-полтора после нашего возвращения. Бог ты мой, сколько восторженного квохтанья! Окно в выставшей комнате Зинаиды было тут же закрыто, и началась ловля голубя, который не спешил отдаться в руки. Наконец Зинаида овладела им, на глазах у нее вскипели слезы радости, последовали поцелуи, хотя птица в тот момент, как мне показалось, совсем не была к ним расположена. И вдруг:

– Что это?! Что такое?!

Поначалу я решила, что к хвосту голубя что-то приклеилось, но это что-то оказалось привязано шелковой ниткой! Своими костлявыми пальчиками Зинаида отвязала длинненькую трубочку и сообщила, что это обрезок гусиного пера. Он был очищен с двух сторон от бородки, один конец зашит, другой заткнут чем-то наподобие восковой пробочки, которую Зинаида ловко скovyрнула иголкой, а затем подцепила то, что находилось в этом футлярчике, и вытянула миниатюрный свиток тончайшей бумаги. На нем было что-то написано бисерным почерком, и тут у Зинаиды затряслись руки, она так разволновалась, что передала бумагу мне, и я прочла вслух:

«Милостивая государыня! Возвращение голубя было для меня большой радостью и неожиданностью, поскольку я уже не надеялся его увидеть. Не знаю, догадались ли Вы, что птица эта – почтовый голубь. Он совсем молод и только начал обучение, но способности имеет выдающиеся. Я назвал его Бельшом...»

Чтение пришлось прервать, потому что Зинаида чуть в конвульсиях не забилась от этого совпадения. Полагаю, имя для белого голубя было не слишком оригинальным. Я бы, конечно, назвала его Снежком. Тоже банально, но, как я уже успела заметить, у них и у нас банальное не совпадает.

«...Когда Бельш в положенное время не вернулся домой, я догадался, что он попал в беду. В городе голубю может угрожать залетная хищная птица и несмышленная ребятня. Ежели птица жива, но в воздух подняться не может, то большая угроза от котов, собак и недобрых людей. Историю путешествия, ранения, лечения и дружбы с Вами я прочел по внешнему виду Бельша, а кольцо добавило важную замету о Вас. Я понял, что голубю повезло встретиться с добрым человеком, который подвязал к дощечке сломанную ножку, и пока она не срослась, ухаживал за ним с любовью. А колечко на нарядном инурке рассказало о том, что спаситель относится к прекрасной половине человечества. Это маленькое колечко сообщило мне также о маленьких ручках, о тонких пальцах, ласковых и ловких, умеющих вылечить птицу с редким успехом. Об успехе говорю не случайно, я знаю толк в ветеринарном искусстве. Я написал Вам об опасностях, подстерегающих голубя, а для голубя с золотым колечком на груди они многократно увеличиваются. Беру на себя смелость просить Вас о позволении доставить Вам кольцо и лично засвидетельствовать мое глубочайшее уважение, восхищение и благодарность. Ваше согласие и адрес жду голубиной почтой.

Искренне преданный Вам Дмитрий Васильевич Бахтурин».

Зинаида потеряла дар речи, а когда обрела его, я не могла понять, что ее больше поразило – само письмо или то, что у голубя обнаружился хозяин.

– Что же теперь делать? – потерянно спросила она.

– Писать ответ.

– Это невозможно! Это против всех правил приличия...

– По-моему, против правил приличия не ответить на такое милое письмо.

– А как же Бельш? Его придется отдать?

– Вы же не хотите сгноить его в клетке? А кольцо вы не хотите вернуть?

– Да бог с ним, с кольцом! – Она с горестным видом взирала на птицу. – Так вы считаете, что требуется ответ? А что же писать? Я не желаю, чтобы он сюда приходил!

– Так и напишите, – я с трудом удерживалась от смеха. – Мерси за галантное письмо, но видеть вас не желаю.

– Мыслимо ли такое написать?

– При желании все можно изложить вежливо, элегантно и даже хитроумно, и если он джентльмен, то подарит вам Бельша.

– Думаете, подарит? – Такой поворот дела явно заинтересовал Зинаиду. – Но как же составить письмо, вы можете это сделать? Я и бумаги годной не сыщу. Поблизости не купишь такой. Впрочем...

Она очень споро куда-то заковыляла, а вернулась с французской книжкой большого формата, гравюры в ней были покрыты вкладками из тончайшей папиросной бумаги.

– Надо попробовать, не расплываются ли чернила, – сказала она, и мы сделали пробу. Чернила не расплывались. – Теперь пишите!

Тут я и подумала: ведь у них не только календарь «старый», у них и орфография «старая», которой я не владею.

– Нет уж, пишите сами. Я пишу, как курица лапой, а здесь нужен бисерный почерк.

– Но я же не знаю, что писать!

– А я буду диктовать.

И вот она вывела первые строки изумительным каллиграфическим почерком:

«Милостивый государь Дмитрий Васильевич! Меня удивило и взволновало Ваше письмо, а в особенности то, что Вы точно распознали, что случилось с голубем, и назвали его тем же именем, что и я. Я тоже звала его Бельшом, хотя, возможно, учитывая цвет его оперения, в этом и нет ничего удивительного...»

Тут я задумалась, а Зинаида с надеждой смотрела на меня и терпеливо ждала, пока я продолжу диктовку. И я продолжила:

«...За то время, что я ухаживала за Бельшом, я очень привязалась к нему. Мне трудно представить, что теперь я должна с ним расстаться, и я буду Вам очень признательна, если Вы станете иногда отпускать его ко мне погостить. О кольце не беспокойтесь, а для личной встречи пока нет никакой возможности. С уважением и признательностью...»

– Что значит – погостить? – спросила Зинаида. – Нельзя ли прямо попросить подарить голубя? И как подписать, чьим именем?

– С джентльменом – нужно по-джентльменски. Должен понять намек. А подписать – своим именем.

– Своим – ни в коем случае!

– Тогда – любим. Безразлично каким. Мы же не собираемся с ним встречаться. Подпишите – «Муза». По-моему, интригующе.

– Ладно, подпишу «Муза». Только посылать Бельша будем завтра. Вдруг он его больше не отпустит? Пускай хоть сегодня побудет со мной.

Зинаида ловко скрутила свое послание в рулончик, заправила в обрезок пера, потом зажгла свечку и, колупнув кусочек воска, помяла его в пальцах и залепила отверстие. Бельш клевал зерно в своей клетке. Меня разбирало любопытство, что же ответит наш корреспондент.

– Я бы послала голубя сейчас и, возможно, уже сегодня мы получим ответ. Неужели не интересно, что он напишет?

В общем, уговорила на свою голову, потому что окно снова было распахнуто, голубь с письмом выпущен, и у окна посажена Наталья ждать его возвращения. А я должна была выслушивать бесконечные глупости о том, дома ли наш Дмитрий Васильевич, вдруг голубь его не застанет, ответит ли он, летают ли голуби ночью, хоть ночи и белые... К счастью, пришел доктор Нус и своим посещением украсил вечер.

14

Мы собрались в столовой (она же гостиная, она же зала), в комнате с тремя окнами и темно-синими мрачными обоями, с диванами и стульями по стенам, большим квадратным столом посередине, напольными часами, которые своим боем оповещали весь дом о каждом наступившем часе, с портретами какого-то доморощенного художника покойных генерала и генеральши в массивных рамах, пальмами и фикусами в кадках и цветами в фарфоровой вазе, которые при ближайшем рассмотрении оказались матерчатыми.

Доктор Нус, адресуясь ко мне, сказал «ну-ус» с вопросительной интонацией. Он хотел знать о самочувствии, о возможном возвращении памяти и прочее. Но ответить я не успела, покраснев и раздувшись, как индюк, выступила Серафима:

– Видать, того, что было, и вспоминать не охота.

– А вам, Серафима Иванна, предписано было принимать горячительное не внутренне, а наружно, как растирание, и не гневаться, а то достукаетесь до удара, – строго сказал доктор. – А еще я рекомендовал бы вам выпустить две глубокие тарелки крови. Прислать оператора?

– Я от этого только слабею, – умирающим голосом сообщила мегера, и только тут я заметила, что она пьяненькая.

– Не преувеличивайте. Вы бодры и неукротимы, как Робеспьер, – сказал доктор со смешком.

– А у вас ничего нового. Все лечебные средства – пиявицы да кровь пустить.

– А теперь преуменьшаете, дражайшая Серафима Иванна. Пиявицами мои средства не ограничиваются. А ртуть? А хина? Сера? Алтейный корень с селитрой? Все болезни побеждают! – Доктор отвесил шутовской поклон, а старуха метнула в него уничтожающий взгляд и демонстративно вышла из комнаты.

Все сохраняли невозмутимый вид. Я вспомнила вывеску, где даме пускают из вены фонтан крови. Ну, дудки, решила я, кровь пускать себе не позволю, и серу с ртутью принимать не буду. Но доктор ни с ртутью, ни с серой ко мне не приставал. Он с интересом выслушал нашу с Зинаидой сегодняшнюю одиссею, попросил меня показать язык, посчитал пульс, и сделал заключение:

– Для возврата сил – ежедневный моцион, питаться мясным, можно пить кофе, а перед сном рюмочка мадеры не повредит.

Что-то симпатичное было в докторе Нусе. Насмешливый оптимизм, вот что. Невысокий, глаза блестят, а на щеках играет юношеский румянец. От волос остался полумесяц, окаймляющий обширную лысину сзади. Здесь он волосы стриг, а с боков, отрачивал и зачесывал справа – налево и слева – направо, чтобы лысину прикрывали. Чем-то он их прилеплял, может, глицерином, может, сахарной водой. Ко всему тому, это произведение парикмахерского искусства и бачки он красил в рыжеватый цвет, сквозь который седина все равно пробивалась.

Я уже знала, что доктор Нус настолько уважает пиявок, что даже пишет о них научный труд. В своем саквояжике он носил баночку с пиявками, и в доме Зинаиды повсюду были расставлены банки, где они плавали, изящно изгибаясь, или дремали, присосавшись к стеклу и переваривая то, что высосали. А переваривать или «отдыхать» кровососы должны были не менее трех месяцев. Вообще же они могли обходиться без пищи полтора-два года.

– Они понимают хороших людей. Подойдите, поднесите к стеклу палец, – напутствовал меня доктор. – Видите, как они рвутся к вам, как радуются! Вы видите?! Я же не шутейно, я на полном серьезе. Они не станут устремляться к плохому человеку.

– Кушать хотят, а у хорошего человека и кровь слаще. Не то, что у некоторых... – сказала Наталья, принесшая самовар.

Серафима, и как ни в чем не бывало, разливала чай. К чаю Марфа подала свежие ватрушки и варенье. А после чая доктор показал «Полицейские ведомости» с объявлением обо мне. Оно чрезвычайно меня насмешило.

«Найдена женщина неизвестного звания в машкератном костюме, со следами удушения на шее и ударом головы, также было украдено жемчужное ожерелье. Ничего о себе не помнит и не может сказать. На вид лет 30-ти, волосы темно-русые, глаза серые, нос правильный, рот прямой. Если кто знает что-нибудь о пропавшей, сообщить в Коломну...» и т. д.

Особую курьезность объявлению придавало то, что я оказалась рядом с пропавшими собаками.

«Сбежал со двора кобель породы водолаза с зеленым лайковым ошейником. Кличка ему Милорд. Кто доставит оную собаку тому будет дано вознаграждение 3 рубля серебром...»

«Потерялась сучка породы мышеловок, на голове шерсть беловатая, нижние зубы все на виду, кличка Куля. Кто приведет в Караванную...»

«Пропал старый пудель, наполовину выбритый, светло-рыжей шерсти, кличка Драгун. Нашедшего просят доставить во дворец Великого Князя Михаила Николаевича...»

Но все превзошла следующая потеря:

«Утеряно порт-моне, где медальон с волосами и деньги. Кто принесет в дом Розенфельда на Большую Морскую медальон с волосами, получит вознаграждение, а также порт-моне с деньгами может оставить себе...»

Никто не понял, что меня так развеселило, и не сопоставил меня с кобелями и сучками, а также с волосами в медальоне, то бишь локоном возлюбленной. Серафиму заинтересовали совсем другие объявления. О новых лекарственных средствах! В частности о каком-то «Роб Лафекторе» – парижских подкрепляющих лепешках, которые лечат насморк, катар, золотуху, бледную немочь, биение сердца и английскую болезнь. В общем, лечат эти лепешки все, а изобретатель их получил медаль. Во избежание подделки «Роб Лафектора» покупателям советовали требовать ярлычки и печати, а также объясняли, как производить химическую пробу лекарства.

Ничегошеньки не изменилось за полтора столетия. То есть не изменится. Наверное, всегда так было и будет. Одни мошенники изготавливают и продают невесть что, другие – подделывают это невесть что, а дураки – пользуют. Доктор Нус относится к новомодным средствам скептически. Поначалу я думала, он противник всего иностранного, но нет. Он был поборником здравомыслия, которое подсказывает, что одной пилюлей все болезни не вылечишь.

– Здесь же ясно написано: «...нейтрализует дурные действия железистых и содистых солей, способствуя их всасыванию, легко переваривается в желудке, имеет приятный вкус. Помогает против... Для восстановления и подкрепления органов... Чистительное средство...»

– Перестаньте, тетушка! – с упреком сказала Зинаида, а доктор поддал жару:

– Не злите меня, Серафима Иванна, этим бредом сивой кобылы. – Доктор говорил с наигранной сердитостью, но было видно, что настроен он добродушно. – Тем более нет у вас ни золотухи, ни бледной немочи, ни даже английской болезни. Нет! Вы феноменально здоровый человек. Для вашего возраста... Если вы будете вести правильный образ жизни, проживете до Мафусаиловых лет.

Анелю больше волновал розовый зубной порошок, анисовая эссенция, ореховое благовонное масло, лавандовая вода и все подобное.

– Благовонные масла – не вредны, – констатировал доктор Нус.

Весь вечер он посматривал на меня с заметным интересом и удовольствием. Черт подери! Смешно это все, но веселит мужское внимание, даже если мужчина старый сморчок! А Зинаида то и дело семенящей походкой убегала к дежурившей у окна Наталье, чтобы узнать, не вернулся ли голубь. Даже доктор в конце концов не выдержал:

– Что это, матушка, вы все бегаєте? Что с вами такое?

Зинаида просила меня никому не говорить о нашей почте, а сама вела себя подозрительно, бормоча время от времени: «Пропал мой голубок», «Не станет он нам писать, этот Дмитрий», «Зря послали Бельша». Я тоже засомневалась, придет ли ответ, хоть диктовала письмо в расчете на это. Может быть, стоило писать пространнее, завлекательнее и задать конкретный вопрос, требующий конкретного ответа?

Но Бельш не пропал! Ф-р-р – приземлился он на подоконник. Клац-клац – мягко простучали коготки по дереву. На шейке у голубя было кольцо на Зинаидиной ленточке и письмо.

«Милостивая государыня! Простите, если допустил нескромность. Побуждение написать Вам было вызвано необычной ситуацией и благодарностью, и писал я со всею искренностью и простотой. Поступок мой извиняет воспитание и долгое житье за границей. Человек я русский, но в России находился только до двенадцати лет, а вернулся всего год назад. Все здешнее мне вспомнилось, я вполне освоился и, мне казалось, узнал и понял родину, как иностранец понять не смог бы. Теперь я достаточно наказан за самоуверенность. Еще раз приношу Вам свои глубокие извинения и не смею более Вас беспокоить. Надеюсь, Бельш, благополучно доставит Вам кольцо.

Я с радостью подарил бы Вам голубя, однако для содержания и благополучия его требуются специальные условия – гнездо на чердаке и голубка. Голубя нельзя разлучать с голубкой, голуби – однолюбы, пары у них складываются на всю жизнь. Случится, ястреб унесет самца, на голубку без жалости смотреть нельзя. Самым жалобным голосом зовет она друга, прячась в осиротевшем гнездышке. Замену вдовствующим голубям или голубкам найти не легко. Особенно голубки бывают непримиримы и даже жестоки в обращении с ухажерами. По две-три недели держат подбираемую новую пару под тесной корзиной, а дело не слаживается, идет ожесточенная борьба, перья летят во все стороны, пока голубка не смирится или молодой голубь не окажется настолько избитым и окровавленным, что приходится оставить голубку в покое. Такое завидное постоянство. Недаром голуби пользуются почетом, а убить голубку – святотатство.

Боюсь навязываться, но, коли есть желание, мой помощник доставит Вам пару голубей, устроит им жилье и научит, как ухаживать.

Ваши усердный слуга – Дмитрий Бахтурин».

– Вот оно как... – задумчиво сказала Зинаида. – Что-то не то мы написали, вот он и не хочет нам докучать.

– Вы сами пожелали от него отделаться. А он даже готов подарить Бельша с голубкой!

– Ничего такого я не желала, просто не хочу, чтобы помощник сюда приходил. Вот если бы голубка жила у Дмитрия, а Бельш летал к ней и возвращался сюда, было бы хорошо. Только Дмитрий больше не напишет, он и кольцо вернул.

– Хотите, чтобы написал?

– Конечно, – печально сказала она.

– Напишет. А кольцо мы ему снова всучим.

И мы сотворили следующее письмо:

«Любезный Дмитрий Васильевич! Между нами вышло какое-то недоразумение, которое мне сложно разъяснить, тем более я тоже ощущаю себя в родной стране чуть-чуть иностранкой; иногда обычные вещи и отношения представляются мне до удивления странными. Кажется, Вы решили, что я не хочу Вас знать. Уверяю Вас, это не так, просто я считаю, что личная встреча немного преждевременна. Никакой обиды своим письмом Вы мне не нанесли, а уж в нескромности Вас обвинить просто невозможно. И более того, Вы очень заинтересовали меня жизнью голубей и голубиной почтой, о которой я слышала, но совсем ничего не

знаю. Если бы Вы были так добры и рассказали о голубях и устройстве голубиной почты, я была бы признательна Вам. Бельшиа я действительно полюбила, но отнимать его от родного гнезда совсем не хочу. Чтобы уверить Вас в своем добром отношении, я снова посылаю Вам кольцо (дай Бог, Бельши и на этот раз долетит благополучно!) как залог наших необычных дружеских отношений.

*С надеждой быть правильно понятой
Муза».*

В процессе написания мы по всякому пустяку пререкались, начиная от обращения «любезный» и намека на «чуть-чуть иностранку», сделанного для того, чтобы заинтриговать Дмитрия. Впрочем, сама Зинаида ничего придумать не могла, поэтому, хоть и ерепенилась, но с моими доводами соглашалась. Писали мы в ее комнате, дверь она закрыла на ключ, однако кто-то пытался ее открыть, но Зинаида приложила палец к губам и мы затаились. Этот кто-то постоял под дверью и ушел. Зинаида сказала со вздохом: «Это была тетушка. Обычно в такое время она уже в постели».

15

Бакулаевский дом был населен гораздо плотнее, чем я предполагала. Весь нижний этаж занимали квартиранты. Всякую шуштуру, как сказала Наталья, сюда не пускали, жилье снимали люди семейные, тихие и без детей: офицерская вдова, какой-то «переписчик из Пассажа» со старушкой матерью и типографский рабочий с женой. Внешность типографа была дикая, устрашающая, но человек он был добродушнейший. После обморожения у него отняли одну ногу, поэтому ходил он на культяпке, как капитан Сильвер. Здесь же дворник Егор жил, который подметал перед домом, снабжал всех жильцов водой и дровами, нюхал табак и чихал по пятнадцати раз кряду, а по праздникам, но не чаще, напивался.

Кухонные бабки – я отчаялась их сосчитать – появлялись из ничего и исчезали в никуда. Эта ветошь походила на призраков. Кто-то, как официальная кухарка Марфа и дворник Егор, раньше были бакулаевскими крепостными, а после освобождения остались у Зинаиды, а кто-то был пришлым. Горничная Наталья тоже из бывших крепостных, она выросла здесь и всегда находилась при ровеснице Зинаиде. Ее положение было привилегированным.

Вдовая Серафима – единственная родственница Зинаиды, приехала с дочкой из уездного Порхова после смерти генеральши Бакулаевой, своей сестры. При жизни матери, Зинаида с бедными родственниками не общалась, а оставшись одна, приютила их. Кроме Палашки, как я поняла, они никого и ничего с собой не привезли.

Серафима вела хозяйство и занималась квартирантами. Считалось, что у нее большие способности к домоуправству. Она их использовала в первую половину дня, а во вторую – потихоньку прикладывалась к заветному штофику, который стоял в заветном шкафчике у нее в комнате. Она любила раскладывать гранд-пасьянс в гостиной (она же столовая и зала), где Зинаида читала вслух, но постоянно, отлучаясь к шкафчику, доходила до кондиции и тогда удалялась по-английски. Впрочем, утром она вскакивала, как ни в чем не бывало, и бралась распекать всех подряд.

Старая карга никак не могла успокоиться по моему поводу, я снова слышала, как она приставала к Зинаиде:

– А что на театре, свои платья носят или дают?

– Какой вздор! – вспыхнула Зинаида. – И о чем вы только думаете, тетенька, несправедливо думаете. Оставьте ваши придирки, я больше не хочу ничего подобного слушать.

– Увидишь, никто не придет по объявлению. Хороша пропажа да дурна находка!

«Комедьянткой» я сделалась поневоле. Но предчувствие мегеру не обманывало, явиться за мной было некому. Проходя мимо, Серафима делала вид, что не замечает меня и сокрушенно говорила, будто бы сама с собой: «Могу представить себе, какого поведения эта женщина». Ясно, какую женщину она имела в виду. Она хотела вызвать меня на грубость, но я была подчеркнута вежлива. Старуха чуяла, что Зинаида потянулась ко мне, и то, что у нас завелся секрет, тоже почуяла.

Серафима докучала всем, в том числе и Зинаиде, которая, словно маленькая собачка, огрызалась, показывала зубки, но на том и кончалось. Зинаида нуждалась в тетке, без нее она не знала бы, как справиться с хозяйством. Наверное, она по-своему любила ее, а уж кузину любила определенно, только в подружки глупенькая Анелька не годилась.

* * *

С утра Зинаида маячила у окна, пока не прилетел Бельш.

«Трудность моего положения заключается в том, – писал Дмитрий, – что я не знаю, как следует к Вам обращаться. Имени своего Вы не пишете и, должно быть, имеете на то причины, но боюсь, напиши я «любезная Муза», будет это выглядеть чуть ли не фривольно. Возможно, Вы не хотите назваться, поскольку не знаете, что я за человек? Если Вы усомнились в моей добропорядочности, то смею уверить Вас, вся моя прежняя жизнь не давала знакомым со мной людям повода стыдиться меня. И справки обо мне навести очень просто, если это обратит Ваше доверие ко мне. Рекомендовать меня может такой уважаемый человек, как профессор Военно-медицинской академии Алексей Львович Польшников. Но ежели причина в том, что наша переписка может быть неправильно расценена кем-либо из Ваших близких, это достаточно серьезный повод, и мы должны ее прекратить. Напишите мне об этом прямо, и более я Вас не потревожу.

О голубиной жизни вкратце сообщу Вам следующее. Сложившаяся пара голубей – идеал любящей четы, и любовь их ничем нерушимая, до гроба. Яйца высидивают оба родителя, причем самец сидит на гнезде от девяти утра до четырех пополудни, а самка остальное время. Можно наблюдать, как голубь, сердясь и воркуя, гонит голубку к гнезду, если она долго не возвращается, чтобы сменить его, но гонит он ее осторожно, нежно, драки же и ссоры, как случается у людей, у них не бывает. Голубята вылупляются слепыми и беспомощными, родители согревают их и кормят питательным соком, который вырабатывается у них в зобу. Через две недели голубята покрываются пухом, а со времени появления первых перьев родители согревают их уже только ночами.

Голубиная почта, как принято считать, ведет свое начало от Ноя, выпустившего из ковчега голубку, которая вернулась обратно с масличною ветвью. Привязанностью голубя к родному гнезду и способностью возвращаться к нему издалека пользовались еще в глубокой древности. Молодых, полностью оперившихся голубей, поначалу пускают летать вокруг голубятни, а уж затем начинается дрессировка: голубя увозят от гнезда и приучают возвращаться, постепенно увеличивая расстояние. Как я уже писал Вам, Бельши не прошел всей дрессировки, и его полетам я удивлен и обрадован».

Зинаида проявляла большое волнение при получении и чтении очередного письма. Бросить переписку она не хотела и, мне кажется, причиной здесь была не просто возможность видеть голубя, а разнообразие в ее скучной жизни. Она воспринимала эту переписку, как приключение, как захватывающую авантюру. Ее мучила совесть, что мы обманываем нашего корреспондента, однако познакомиться с ним лично она тоже не желала, и причина этого ясна. Она боялась предстать перед ним такой, какая есть: маленькой, тощей, горбатой Крошкой Цахес. Маска – именно то, что ей нужно. Я рассказала ей о сущности венецианского карнавала, когда люди под маской были свободны в проявлении чувств и могли говорить и делать то, что без маски не осмелились бы. Я долго внушала ей, что ничего неприличного в наших письмах нет, тем более эта переписка – игра, и мы продолжим ее на наших условиях. В настоящий момент у нас одна задача: заинтересовать Дмитрия, даже заинтриговать, чтобы у него не пропало желание отвечать на наши письма. Я продиктовала Зинаиде следующее:

«Муза – христианское имя, хотя и не слишком распространенное. Жила во времена оны праведная отроковица Муза, которую Богородица взяла в свою свиту, правда, для этого Музе пришлось умереть от тяжелой болезни. Так что Муза – мое настоящее имя и, мне кажется, оно лучше звучит без отчества. В обращении «любезная Муза» не вижу ничего из ряда вон выходящего. Я же обращаюсь к Вам – «любезный», потому что Вы и в самом деле чрезвычайно любезны.

Для нашей переписки нет препятствий. Для меня она интересна и познавательна. Я даже не представляла, насколько своеобразен мир голубя. И хотя эти птицы окружают нас,

я никогда не обращала на них внимания, а ведь именно с голубями у меня было связано одно замечательное детское переживание. Однажды, обиженная чем-то или кем-то, я спряталась на чердаке и, заплакавшись, заснула там, а перед тем, как окончательно проснуться, на грани сна и реальности, ощутила нечто необычное. Течение Времени! Стоял летний день, и все пространство чердака было заполнено скользящими солнечными пятнами, роями золотых пылинок и мерным голубиным воркованием. Что-то как будто струилось сквозь все мое существо, и я покачивалась на его волнах. Почему-то я знала, что это – Время! Это блаженное и покойное чувство я запомнила на всю жизнь, неоднократно пыталась его поймать снова, но больше оно не вернулось».

– Вы вспомнили? – спрашивала Зинаида. – Что это был за чердак? Что за дом?

– Все это фантазии. Нам же надо о чем-то писать.

Однако случай с чердаком, голубиным воркованием и ощущением Времени был в действительности, на даче, в Мартышкино. Конечно, есть вероятность, что мысли о Времени навеяны последними событиями моей жизни. Подозреваю, там было что-то иное: предчувствие пробуждения женственности, сексуальных чувств? Не помню, осталась только необычность ощущения.

Пишите дальше, – сказала я. – Надо тактично, аккуратно задать ему вопросы: кто он по профессии, сколько ему лет, каково его семейное положение? Нам это интересно?

– Да, – тихо ответила Зинаида.

– Как бы это спросить поэтичнее? Вы знаете?

– Нет, – ответила Зинаида, не поднимая глаз от бумаги.

«Никаких справок о Вас я наводить не хочу, – продолжила я диктовать. – Мне не нужны рекомендации, Вы сами себя отрекомендовали...»

16

Зима – это смерть, снег – саван.

Пышное лето – самая грустная пора, потому что его зрелость и дебелость – от близости увядания. От одряхления его отделяет один шаг.

В багрец и золото одетая осень – бутафорская, пошлая, как ярмарочная картинка, и тревожная – вспыхнет на миг пожаром и не оставит после себя жизни.

Лучшее из времен года – весна. Сок жизни, суть жизни – в ее расцвете, в нежной глянцево-зеленой не пропыленной зелени, у которой такое богатство оттенков, какое может смело сравниться с осенним разноцветьем. Но там – аляповатость и безвкусица, а здесь – нежность и изысканность. Как быстро это случается и проходит, как скоро опереются деревья и кусты. Мои именины (по новому, разумеется, стилю) как раз в переходный период к цветущей весне. Белым кружевом накрывается черемуха, за ней вишни и яблони – их очень много в городе, но заметны они только в цвету. Бузина выметывает пышные корзинки с бутонами. Каштан готовится растопырить листья, и они похожи на брезгливо отряхивающиеся кисти рук со сложенными пальцами.

Здесь, несмотря на холодную весну, зацветает сирень, а значит, наступает лето. Я бы хотела, чтоб весна длилась вечно.

Из дома доносятся звуки, сопоставимые с воплями мартовских котов. Это Анелька мучает фортепиано. А я хожу по солнечному бакулаевскому саду с цветущей сиренью и боярышником и пою: «Не покидай меня весна, не оставляй меня надежда...» Сад запущенный, в нем есть старые деревья, дряхлая беседка, есть прелестные уголки. Особенно мне нравится курганчик (мусорная куча?), покрытый яркой шапкой сурепки цвета яичного желтка. Этот курганчик притулился к деревянному сараю, и над ним картинно изогнулась ветка цветущей жимолости.

Если бы я была художницей, я бы нарисовала это.

Слышала жемчужное, булькающее коленце соловья. Это ни с чем не спутаешь. Вечером они должны запеть, как следует, если еще не сели на гнезда. Встретила нелепого котяру. Сам огромный, раскормленный, голова, как котел, а зад узкий и костлявый. Он пятнистый, черно-белый, но пятна так неудачно расположены, что ноги кажутся кривыми, а морда – не пойми-разбери, будто кто взял ее в кулак и пожаткал, все перемешав, только янтарные глаза остались на своем законном месте. Смотрит застывшим взглядом.

– Кис-кис-кис, – зову я. Ноль внимания, глаз не отводит. Хотела погладить. Шипит, шерсть стреляет электричеством. Да кот ли ты?

Но это была не единственная встреча. У беседки я увидела Палашку. Она меня даже не заметила, так поглощена была своим занятием: подсовывала что-то завернутое в белую тряпицу под ступеньку беседки. В другое время я бы прошла мимо, но какое-то внезапное и необъяснимое чувство остановило меня, словно впереди зажегся красный прожектор и надпись: «Внимание, опасность!» В несколько прыжков я оказалась у беседки, схватила одной рукой Палашку за запястье, а другой – вытащила тряпицу. Она развернулась, и оттуда, сверкнув на солнце глазами-изумрудами, выпала, свернувшаяся кольцами, змейка. Это был золотой браслет.

Палашка вырывалась, и я, оставив браслет, с трудом удерживала ее двумя руками. Хлипкая на вид, девчонка оказалась на удивление верткой и сильной. Наша битва проходила в полном молчании, а в голове у меня вертелось только одно: нельзя выпустить ее из рук. Я не знала, у кого она украла эту змейку, но воровкой должны были объявить меня. Возможно, она и не украла, а получила браслет от Серафимы. Слишком банальная история. К сожалению, у меня не было наручников, но помощь небесная была в этот день на моей стороне.

Случайно я навалилась на Палашку и придавила ей ногу так, что она взвыла. «Будешь орать, маленькая дрянь, в порошок сотру, – прошипела я, – бог простит за это все грехи!» Я потащила ее, хромящую, к дому, где Наталья развешивала проветривать зимнюю одежду. Я очень боялась, что она закончила работу и ушла, но нет, Наталья была во дворе! Чтобы не привлечь чужого внимания, близко не подошла, стала звать. И Наталья услышала, а, увидев меня с Палашкой, бросилась на помощь. Втроем мы вернулись к беседке, где лежала тряпица, и светилась в траве, как живая, золотая змейка Клеопатры. У Натальи от бешенства только что пар не пошел из ушей. Она схватила Палашку за шкирку и валяла ее от души, и костерила, а самым ласковым ругательством было – «шишимора проклятая».

Этот браслет Зинаида подарила Анельке на Пасху.

Палашка размазывала по бледному лицу слезы вперемешку с землей, громко всхлипывала, клялась, божилась, а в чем, я так и не поняла. Наталья вручила ей браслет с приказом положить его на место и молчать, как рыба.

– А если еще какую гадость учинишь, Христом-богом клянусь, сгниешь у меня в съезжей! Ты меня знаешь. – Напуганная насмерть, Палашка еле ноги унесла, а Наталья пообещала: – Будьте покойны, больше ничего она против вас не учинит, это я обещаюсь.

Я была так взбудоражена, так благодарна Наталье за то, что избавила меня от большой беды, что, проговорив с чувством: «Ах ты, моя незабудочка!» – чмокнула ее в щеку. Наталья была крайне смущена, хотела что-то сказать, но махнула руками, словно стряхивая воду, и пошла к дому.

Я и раньше чувствовала, что она по-доброму ко мне относится. С Зинаидой обращается, как с ребенком, а со мной, как со взрослой, хотя в этой их жизни я ничего не смыслю, и она это понимает. В общем, за помощью я бы скорее к Наталье обратилась, чем к Зинаиде.

Во время обеда я наблюдала за Серафимой, но так и не уяснила, была ли она участницей сегодняшней истории. А то, что Наталья ничего не сказала Зинаиде, это очевидно. Что ж, ей виднее...

После обеда дом затихает, здесь принят тихий час, а я решила пойти к каналу. Я укрепила в мысли, что специально искать волшебную подворотню не надо. Она откроется сама, неожиданно, когда я не буду этого ждать. Но, если сидеть дома и гулять по саду, кроме старой выгребной ямы мне вряд ли что откроется. Так что надела я короткую пелерину, шляпку-корзинку, перчатки и – аля-улю!

В коридоре наткнулась на Наталью. Она говорит:

– Зина будет ругаться, что ушли без спросу. А если потеряетесь?

Я хотела пройти по Садовой, чтобы осмотреть торговое царство, которое простирается от Никольского рынка до самого Невского. После Сенной площади с рынком – Апраксин двор, за ним, ближе к Фонтанке, Шукин, о котором я только слышала, а напротив – Гостиный. Говорят, продается здесь все: от гвоздя до подвенечного платья. Любые овощи и заморские фрукты, мясо, рыба, дичь, живые кролики и курицы, певчие птицы и ежи, картины, ковры, мебель и масса всевозможных вещей, которые у нас назывались антиквариатом. И, конечно, развалы книг и журналов, где любопытно покопаться. Колоритный и красочный мир. Но для начала меня затянул все тот же ближний рынок – Никольский, где я пропала в рыбных рядах, засмотревшись на горы рыбы во льду и бочонки с маринованными миногами, в мясных – на говяжки и свиные туши, на колоды с топорами, на мясников в белых замызганных передниках и кожаных нарукавниках, с громадными ножами на широком поясе. Изумленно смотрела на ошипанных воробьев и свиристелей в корзинах: 10 штук – 5 копеек. Я разговаривала с людьми, задавала вопросы, часто получала вежливые ответы, хотя некоторые смотрели на меня тупо, как бараны на новые ворота, словно говорила я на иностранном языке.

Часы Никольского собора отбивают каждые полчаса. На другие рынки, на развалы книг и галантерейные прелести уже не осталось ни сил, ни времени. Однако я решила дойти до

Невского и направилась вдоль канала, ни на что особенно не надеясь, но внимательно оглядывая подворотни. От воды тянуло прохладой и свежей рыбой. Временами канал с лодками был очень живописен, но это не тот канал, который я любила. Еще не построили дома с безумной лепниной, с эркерами – уютными гранеными фонариками, с многочисленными башенками, похожими на шлемы, тюбетейки, ротонды, пагоды, еловые шишки, шахматные фигурки, с куполками и шпилями. Здесь еще не знали прихотливой вычурности модерна и всякого рода затейливой эклектики. И вдруг меня поразила мысль, что моих любимых художников тоже нет, и любимые картины ими еще не написаны. Импрессионистов нет, никто даже не подозревает, что возможна такая живопись! Уж не знаю, родился Левитан или он только в проекте? Какое-то глухое время. Все еще впереди. Почему я не попала в Петербург Серебряного века?

Сразу я и Невский не узнала бы, если б не мостик с грифонами и колоннада Казанского собора. Обогнув ее, попала на площадь, огромную и пустынную, без привычных газонов, фонтана и кустов сирени, лишь два одиноких чугунных истукана торчали на ней – Кутузов и Барклай. И сам Невский казался шире, наверное, потому, что дома ниже и нет засилья машин и людей. Однако нет и грациозной махины Дома книги – здания общества Зингер со стеклянной башней, увенчанной сферой, нет Спаса-на-крови с разноцветными куполами – луковицами, турецкими чалмами, булавами...

На Невском оживленно и нарядно. Тротуары от мостовой отделены чугунными столбиками, над витринами маркизы, дома залеплены вывесками, причем многие на французском и не знаю, на каком еще языке. Ездят здесь и телеги, и простонародье болтается, но все не так, как в нашей захолустной Коломне, не те экипажи, не те всадники, не тот типаж. Сюртуки и мундиры, цилиндры и кивера, султаны черные и белые, эполеты и сабли! Особенно военные хороши, и более всех – верховые. Понимаю, почему раньше так любили военных. Одеты – ни морщинки, а какая выправка! Да они все красавцы, молодцы, удалцы! Проехала карета с гербом, запряженная четверкой лошадей, пара за парой, на передней – форејтор, на запятках – лакеи в желтых ливреях, обшитых серебряным галуном. Очень театрально!

Как ни странно, лошадный транспорт весьма опасен. Несется сломя голову какая-нибудь колымажка или поворачивает неожиданно, когда совсем не ждешь. Светофоров нет, одни низкорослые фонари. Интересно, увижу ли, как они горят, увижу ли, как светят граненые фонарики на каретах? Внутренний голос мне говорит: это сомнительно. Когда закончатся белые ночи и станут зажигать фонари, я буду уже дома...

Ловлю на себе мужские взгляды. Я к этому привыкла, но, кажется, здесь меня дарят ими щедрее. Или только кажется... Я неважнецки одета. А здесь формула – «во всех ты, душенька, нарядах хороша» – не работает. Может, меня принимают за кокотку?

Хотела взглянуть на Аничков мост, но не нашла в себе сил. Я еще не окончательно оправилась от болезни, быстро устаю, иногда испытываю легкое головокружение. Задумавшись, перестала слышать шум и гам, громыханье экипажей, крики извозчиков: «Эй, берегись!» Зажмурилась и загадала: досчитаю до двадцати, нет, до тридцати и, когда открою глаза, все будет на своих привычных местах – зингеровский дом, Спас-на-крови, вход в метро, потоки машин и людей. И я пойду домой.

– Да что с тобой, боже милостивый! Идем, я тебя отведу... – услышала я неприятный ватный голос, и кто-то схватил меня чуть ниже локтя.

Я открыла глаза и увидела страшную старуху с разверстой пастью, рванулась и припустила по набережной. Интересно, куда она меня собиралась отвести? Может быть, это и был мой шанс? Однако через какое-то время я уже смеялась над своим испугом. Никакая старуха не страшная, просто у нее не было зубов и, вероятно, она решила, что мне плохо и я упаду прямо на мостовую. Был бы это мой шанс – я бы не убежала. А вот теперь, между прочим, я следовала тем самым маршрутом, который проделала в день рождения города, когда гналась за фантомом. Разумеется, я не помнила, где мчалась, куда сворачивала. Остановившись и отды-

хая, я еле дотащи́лась до Коломны, и иногда мне казалось, что я вижу Петербург моих снов, тех самых, «географических», и блуждания мои, потерянность, ветер в голове и свобода – оттуда. А еще я подумала, что возможно где-то здесь ходит тот, кого я искала всю жизнь, кого узнаю с первого взгляда. Стала оглядываться вокруг, а потом смеяться на себя самое. Чего я ищу?.. Куда иду?..

Явилась в свой временный коломенский дом. Впрочем, любой дом для нас временный. Зинаида встретила меня на лестнице, в большой претензии. Куда я ходила, почему без нее, почему не сказала? Я Наталью предупредила, и не надо мне делать выговор, я свободный человек. Оправдывается: беспокоилась, места не находила и... боялась, что не вернусь. Я впервые назвала ее Зиночкой. И тут мы обе растрогались. Сказала ей, что была на Невском, в польский костел заходила в надежде освежить память. О костеле наврала. Чтобы скрыть свое неверие в бога, я говорила Зинаиде, будто не вспомню, какой я веры, может, и католичка, крещусь слева направо. Мне будет проще, если я окажусь в лоне какой-нибудь другой церкви и не буду под надзором православной. Без лона здесь нельзя, этого не поймут.

17

Письмо от Дмитрия начиналось словами: «*Любезная Муза!*» Себя он также просил именовать без церемоний – Дмитрием. Рассказ о течении Времени, испытанном мною на голубином чердаке, не только не показался ему глупым, но встретил живой интерес. Нечто подобное происходило и с ним, когда он в детстве болел и лежал с высокой температурой. Также он писал, что ничуть не считает нескромным желание знать о нем подробнее, и более того – желание это взаимное. Он не молод, ему сорок лет, вдовец, бездетный. Как он уже сообщал, вся его сознательная жизнь прошла за границей, учился он в университетах Берлина и Вюрцбурга, где изучал зоологию и анатомию. Дмитрий – орнитолог.

«Я занимаюсь орнитологической географией, то есть законами распределения птиц по поверхности земного шара, – писал он. – Совершая путешествия по Германии и Франции, я вел наблюдения и делал описания ландшафтов, изучал распространение и условия обитания птиц в определенных местностях, устанавливал пролетные пути, а также историю местной фауны. Я давно мечтал приехать в Петербург, а ускорила приезд смерть моего однокашника по университету, собрата по научным интересам, который жил в Петербурге. Он оставил после себя многочисленные записи наблюдений и сборы фауны (около тысячи экземпляров птиц), совершая экскурсии от села к селу, от города к городу по северным губерниям. Одним словом, приехал я, чтобы помочь обработать коллекцию товарища, и нашел здесь людей, знакомых мне по переписке или рассказам, и даже таких, имени которых не слышал, оказавшихся близкими мне по интересам. Один из них – выдающийся зоолог, автор множества научных трудов, директор, а по сути дела и основатель Зоологического музея в Академии наук, Федор Федорович Брандт. Его заинтересовала и даже вдохновила моя идея по созданию орнитогеографического атласа Европы. Для одного человека подобные труды невероятны. С помощью Федора Федоровича я нашел увлеченных соратников для совместной работы, так что мы даже решили расширить атлас, включив в него Азию.

Кажется, я увлекся совершенно неподходящими и скучными для Вас материями, которые у дам должны вызывать одну зевоту. Подумал было, как бы изложить все это проще и красочнее, только боюсь, успеха не достигну и не закончу до ночи. Прошу покорно простить меня... С неизменным почтением...»

Зинаиде письмо скучным не показалось, но она испугалась, что ученому человеку будет не интересно вести с нами переписку. А еще она не могла взять в толк, что такое орнитогеография и что за атлас хочет составить Дмитрий. Пришлось объяснить на пальцах, что Дмитрий – натуралист, ученый-путешественник.

– В разных краях живут разные птицы. Вот Дмитрий и намерен установить, какие птицы где проживают и куда летают.

– А зачем это устанавливать? Надо? – озабоченно спросила Зинаида и посмотрела на меня пытливым взглядом.

Ох уж мне эти долгие взгляды и печальные глаза!

* * *

Зинаида говорит:

– Как странно, вы так много знаете, так складно говорите, а в простых вещах не разбираетесь, кто такая, не помните.

– Надеюсь, вы не подозреваете, что я валяю дурака и для своего удовольствия сижу в вашей Коломне?

– Нет, конечно, – заверила она даже с некоторой горячностью, а потом спросила: – У вас бывают минуты, когда вы ропщите на бога?

Я отрицательно покачала головой. А она пригорюнилась, по-птичьи склонив голову к плечу. Похоже, она на бога ропщет.

Отец Зинаиды был старше матери чуть не на тридцать лет, а умер, когда Зинаиде не исполнилось года. Не в сражении погиб brave генерал Илья Артемьевич Бакулаев, не от ран скончался, а от холеры. Никаких капиталов после себя он не оставил, пенсию вдове назначили маленькую, так что вскоре ей пришлось продать имение в пензенской губернии. Отца Зинаида, естественно, не помнила. В пензенском имении, где он родился, никогда не бывала. Но в памяти запечатлелся рассказ о бакулаевском роднике. После того, как его живая вода исцелила какого-то слепца, родник почитали святым источником.

Дом в Коломне построил отец, при нем были посажены яблони, малина, крыжовник. Он собирался выкопать в саду пруд и населить его карпами, но не успел начать работы. Участок при доме когда-то был гораздо больше, часть его продали после смерти отца.

Зинаида прожила в Коломне всю свою жизнь. Были какие-то учителя, читала хороших писателей: Пушкина, Гоголя, Вальтера Скотта. В доме есть книги и толстые журналы. Хвалила Зинаида «Поленьку Сакс» Дружинина и «Страдания юного Вертера» Гете. Она превосходно шьет, вышивает шелком, шерстью и бисером. Никуда дальше Троице-Сергиевой пустыни, что рядом со Стрельной, никогда не выезжала. В театры не ходила. С удовольствием вспоминает гулянья на масленицу на Исаакиевской площади и в Александровском саду, где ставили балаганы. Была у нее подруга, лет десять назад она вышла замуж за военного и уехала с мужем туда, где стоял его полк. Поначалу переписывались, потом переписка сошла на нет. Как я понимаю, вся жизнь Зинаиды была обусловлена ее уродством, полноценной она себя чувствовала только в стенах родного дома, при матери, которая умерла три года назад. Зинаида до сих пор ходит в черном, но, возможно, это траур по ее собственной стародевической жизни? Я бы не удивилась, если б она нашла отдушину в религии, но Зинаида религиозна в меру, никакой истовости. О мечтах и фантазиях мне не удалось ничего из нее выудить, кроме желания найти тот пензенский бакулаевский родник. Зачем? Во-первых, несбыточно, а во-вторых, она ведь не дура, чтобы надеяться, будто живая бакулаевская вода рассосет ее горб?

Затруднительно было описать такую жизнь, чтобы выглядела она хоть сколько-нибудь любопытной для других, а тем более для ученого-путешественника. И тогда мы решили: происхождение, родителей и их историю оставили, как есть, остальное подлежало украшению безобидными выдумками. Долго уламывала Зинаиду, чтобы без обиняков назвать свой возраст, а себя – вдовой полковника, потому что зрелому человеку интереснее переписываться не с зеленой девицей, а с женщиной, у которой за плечами хоть какой-то жизненный опыт. Так и не уломала. Зато перестала стесняться в привлечении деталей своей биографии.

«Моя матушка была хорошей художницей и хотела серьезно учить меня живописи, но так уж сложилось, что я сама прервала учение. Давно уже я не рисую, но при виде чего-то красивого у меня бывает пронзительное желание рисовать. Почему я не отдаюсь этому призыву? Лень это или неуверенность в себе? Может быть, не поздно начать все заново? Посылаю Вам миниатюрку одной из самых, на мой взгляд, оригинальных птиц. С ней связаны мои единственные орнитологические наблюдения, любительские, конечно же, далекие от научных.

Этой весной я поправлялась после тяжелой болезни и наблюдала в окно, как в развилке черемухового дерева вороны строят гнездо. Они ломали сухие ветви с окружающих деревьев, носили то ли солому, то ли паклю, сновали туда-сюда, примеривались, как сидится в гнезде, пока однажды ворона не села на гнездо окончательно. С утра день был серенький, но теплый,

а после полудня ветер усилился, и погода изменилась. До темноты я следила, как мотало ветви деревьев, как содрогалось воронье гнездо, как мокрый хлесткий снег несло, словно колышущийся занавес. А она лежала, не шелохнувшись. И угораздило же ее садиться на гнездо в такой день! Ненастье продолжалось неделю, а ворона упорно сидела на гнезде, низко, словно вжав голову в плечи. Я восхищалась ее стойкостью и преданностью делу жизни. И мне легче было бороться с болезнью рядом с такой соседкой.

А еще я заметила, что ворону подменяет супруг. Она улетает кормиться, а он усаживается на гнездо. В конце апреля появились на свет воронята. Теперь я уже была почти здорова, гуляла, но любила смотреть, как супруги выкармливают детенышей. Из окна моего второго этажа жизнь семейства была видна, как на ладони. А потом случился сильный ураган, который расколол старую черемуху пополам, и гнездо оказалось на земле, погребенное под ветвями. Я оплакивала воронят, а когда дворник стал разгрести завал, спустилась взглянуть на гнездо. Оно поразило меня своими огромными размерами и мастерством постройки: с внешней стороны это было переплетение грубых веток, в которые была вмонтирована толстая проволока, какую и человеку трудно согнуть, а внутри – полушарие из материала, очень похожего на войлок. Среди наружных веток я нашла – в это трудно поверить – вилку! Из эстетических соображений ворона принесла ее, где-то украв, или для укрепления гнезда? Но что больше всего меня порадовало – воронят в гнезде не было! Никаких следов! И я вспомнила, что уже за день до урагана не видела ворон на черемухе. Могла ли семья ворон предчувствовать беду и унести детенышей в безопасное место?»

– Как живо вы все рассказали, – похвалила Зинаида. – Вы все это придумали, глядя в окно? Черемуху и вправду буря поломала этой весной.

Я видела, что черемуха у дома Колтуновых сломана, но моя история была связана с черемухой, которая еще не выросла на Петроградской стороне возле моего не построенного дома. Потренировавшись, я нарисовала перышком ворону.

Еще тот день мне запомнился тяжелой сценой, свидетелем которой я стала. Поздно вечером в комнате Зинаиды раздался душераздирающий вопль. Я бросилась туда, но Наталья меня опередила.

Первое, что мне пришло в голову, когда я увидела, как на кровати бьется бедное уродливое тельце: приступ эпилепсии. Но это оказалась вульгарная истерика, и я думала, что в таких случаях нужно по щекам отхлестать или холодной воды в лицо плеснуть. Но Наталья поступила иначе. Она сграбастала Зинаиду в объятия и стала укачивать, как ребенка. Рыдания начали стихать, сквозь икоту Зинаида прерывисто, капризно выговаривала: «Вы меня в гроб хотите загнать!» «Чтобы духу его в доме не было!» «Я найду на него отраву!»

Потом уже, когда Зинаида спала, Наталья рассказала, что это из-за кота. То ли он в комнату залез, где Бельш летал, то ли по коридору шел. Кот – Серафимин, он спит у нее в постели. В дом ему вход запрещен, но Серафима вылавливает кота вечером и запирает в своей комнате. Должно быть, не уследила, и он выбрался.

– Я его видела. Черно – белый? Все правильно, у настоящей ведьмы должен быть кот. И как же Зинаида будет с ней разбираться?

– А никак. Ничего не скажет. Но завтра после такого она как больная делается.

– Она котом ненавидит?

– Это из-за Бельша. У нас раньше жили кот и кошка, еще при генерале-покойнике были заведены. Звали Кинжал и Шашка. Долго жили, особенно Шашка. А потом собачка была – Финетка.

– Странно, что ни Серафима, ни Анелька не прибежали на крики.

– От греха хоронятся.

18

Сплю, как младенец. Наверное, за счет экологии. Воздух чистый. И тишина удивительная. Здесь не только запахи другие и звуки, но и тишина. По ночам, бывает, слышу: трик-трак, трик-трак – это дворник с трещоткой наш покой охраняет. Слышу, как изредка собаки перелаиваются и, естественно – ку-ка-ре-ку! Это святое. А колокольный звон слабо до нас доходит. Наверное, это связано с розой ветров.

Проснулась под впечатлением сновидения. Сначала были одни ощущения. Я ощущала Время. Оно окружало меня, и было приятнее, невесомее пушинки, летучее, воздушнее. Потом оно стало пульсировать и густеть, сделалось вязким, так что приходилось из него вытаскивать ноги, как из болотной почвы. А потом кто-то поднял меня и вытянул из трясины. И это был он. Так начался замечательный сон. Тема сна – сладострастие.

Дождалась боя часов. Слишком рано я просыпаюсь и почему-то часто от голода. Воздух здесь аппетит возбуждает? В кухне нахожу сочувственное отношение у Марфы, она меня угощает чем-нибудь вкусеньким, хотя Серафима всю провизию держит под контролем. Я слышала, как Марфа принимала ее распоряжения, кивая головой и со всем соглашаясь: «Да, благодетельница... Сделаю, кормилица...» А чуть та вышла за порог, скривила рожу и буркнула: «Сатана в юбке!» А еще Марфа потчует меня всякими историями, городскими происшествиями и сплетнями о соседях, этого в кухне предостаточно знают, а может, здесь же и придумывают. Самая кровожадная такая: у публичной женщины, которая живет недалеко от нас, в Дровяном переулке, в сенях, в ушате для грязной воды нашли новорожденного. А что, может, и впрямь нашли. Но нынче самый животрепещущий предмет обсуждения – восстановление дипломатических отношений между Серафимой и Колтуновыми. Зинаида к Колтунам (Колтунчикам, Колтунишкам), как их называют, не ходит.

Мать семейства – вдова, Колтуниха. У нее две дочки-двойняшки – Маша и Саша, ровесницы Анельки. Ссора случилась из-за чиновника, жениха Анельки. Познакомились с женихом в доме Колтунихи, она и пристроила его к Зинаиде на квартиру. Парень оказался ловкий, втерся в доверие, и Серафима возмечтала увидеть его зятем. Уже и разговоры об этом шли, но в благородном семействе случился скандал. Жених оказался аферистом! Я поняла со слов Натальи, что он занял денег с выплатой небольших процентов под залог золотых часов и скольких-то там полуимпериалов. На глазах заимодавца и свидетелей он положил все это в коробочку и запечатал. Но коробочку-то подменил! Когда пришел срок возвращать деньги, в запечатанной коробочке у кредитора оказалась фига. Случился большой шум, жених долг не вернул и требовал от кредитора оплатить залог. Вот тут случайно и выяснилось, что у жениха это не первый случай с фигой в коробочке. Жених был изгнан с квартиры и из жизни Анельки. С Колтунчиками произошел разрыв, а теперь примирение. Слились в экстазе.

Сестрички-Колтунички проявляли большое любопытство к моей персоне. Еще бы, в монотонной коломенской жизни мое появление для юных особ было равнозначно падению метеорита в их огород. Сашу и Машу я видела из окна, они заморожено смотрели на меня и восторженно махали платочками. Анелька же, в отсутствие Серафимы, затащила меня в свою комнатку, полную горшков с цветами, кукол, бантиков и всякой ерунды. Мне был показан модный журнал и масса рисунков, снятых из журналов через пергамент. Оказывается, у Колтунчиков жила модистка, у нее девчонки многому научились.

Вдосталь наслушалась я Анелькиной стрекотни.

...Кисейная шемизетка... ...Лиф с баской... Низкий каблучок... По бокам ленты... Отделка бархоткой... Рукав а ля пагод... Из шелка, батиста, органди... Оборки, оборки, оборки...

Кроме словесного потока, тряпье вывалилось на меня из гардероба шелестящей грудой. Сказать честно, здешняя мода мне не нравилась. Тяжелые, перегруженные мелкими деталями платья. Кринолины – каркасы гигантских абажуров. Корсет – орудие пытки. Сплошная неловкость, никакого движения ткани на теле. Ничего хрупкого, женственного. Результат: манекены, а не женщины. Однако, рассматривая журнал, а также платья, перчатки, ботиночки, бальные туфельки, которые вынимала из шкафа Анелька, я все больше и больше оживлялась, и вся эта мода почему-то уже не казалась мне столь ужасной. Я примеряла Анелькины наряды, а она щебетала:

– Как вам это к лицу, душенька Муза, как к лицу! Пусть Зинаида заберет это платье для вас, сама отдавать не стану, чтобы маменька не заругалась. А может, вам что другое приглянулось?

Анелька на удивление простодушна и добра.

Баволе, баволе... Баволетка... Что это? А это косыночка, отделанная кружевом и собранная в складочки, которая крепится сзади к шляпке. Наверное, я хорошо, изобретательно и с удовольствием мастерил бы шляпки. Если мне суждено здесь остаться, видимо, этим и займусь. Ну да, открою ателье.

– Почему вы не хотите носить корсет? – спрашивает Анелька.

– Корсет меня стесняет. Без него свободнее.

– В Вене корсет даже на ночь не снимают, так и спят.

– Это вредно. Все внутренние органы сжимаются и деформируются. И знаешь, что я тебе посоветую... Не шнуруй так сильно корсет. Это тебя не красит. Если твоя талия станет тоньше на сантиметр, два и даже три, этого никто не заметит, зато сразу бросается в глаза, что у тебя дыхание спирает, пыхтишь, как паровоз, и лицо краснеет, как рак. Ты меня поняла?

– Поняла, – сказала она, и вид у нее был такой славный, глупый и доверчивый. – Я знаю свою талию и не лыщу себя.

– Мужчинам такие талии нравятся.

– А Саша говорит...

– Поменьше слушай Сашу. И Машу тоже.

19

Двадцать шестого мая – родительская суббота. Все поехали на кладбище, а мне там делать нечего. Ненавижу кладбища!

В воскресенье – Троица. Это двадцать седьмое мая по-здешнему, то есть по-старому стилю.

Какой красивый, умытый день! Ночной дождь прибил пыль, юная зелень блестит на солнце, словно лаковая.

Окна и ворота соседей украшены березовыми ветками. И дома у Зинаиды березка заткнута за образа. Праздничный звон колоколов. Принаряженный люд с березовыми пучками спешит на службу. Наша приходская церковь – Покровская, она недалеко, в конце Садовой улицы. Чтобы скрыть свое неверие в бога и не ходить в храм, я твердила, что не уверена в своей принадлежности к православию, потому что крещусь слева направо, как католики, однако отговориться от похода в церковь не получилось. И я решила: почему не посмотреть на праздничное богослужение?

На площади толчея из всякого транспорта. Бегают парнишки с квасом и пряниками, с разной дешевой церковной мелочью – иконками, ладанками, крестиками, пузырьками с лампадным маслом. Паперть заполнена нищими и увечными, среди них и бабы с ребятишками. Много собак-бомжей, которые здесь тоже находят пропитание. Зинаида щедро раздает медяки.

Пол в церкви устлан травой, березовые ветки и сирень по всем углам, вокруг икон, к подсвечникам привязаны. У Зинаиды, оказывается, в церкви есть свое место, за решеткой на клиросе. Все мы там и кучковались, как вдруг Зинаида увлекла меня к аналою, столику перед иконостасом, где божественная книга лежит. Сюда подошел священник. Тощенький, невысокий старик с залысинами чуть не до макушки, а там – петушиный хохолок. Нос у него – клювик. Вид задиристый. Чистый петушок. А вот борода козлиная. Это батюшка Василий. Делаю поклон головой – молча здороваюсь, а Зинаида представляет меня:

– Это Муза, я о ней говорила.

– Значит, забыла, как креститься? – Ответа на вопрос старик явно не ждет. – Слева направо, говоришь, крестишься? Хорошо, что не снизу вверх. – Задумчивая пауза. – А что с тебя взять, ежели памороки забило? – Снова пауза. – А молишься по-каковски? По-русски?

Этот вопрос уже требовал ответа, и получился он дурацкий.

– После сотрясения мозга я забыла молитвы. Молюсь по-русски, но своими словами.

Священник глубокомысленно покачивал головой, словно обдумывая сказанное, и вдруг, совсем неожиданно хряснул кулаком по аналою так, что божественная книга подпрыгнула, и гаркнул громовым голосом, какого и заподозрить было нельзя в тщедушном теле:

– Крестись!

От внезапного испуга я дернулась и машинально, суетливо перекрестилась и, судя по всему, правильно, потому что старик улыбнулся и спокойным голосом, ласково сказал:

– Вот и ладно. – А потом, обернувшись к Зинаиде: – Нашей она веры, нашей! – И куда-то проворно убежал. Я решила, что аудиенция закончена, но он вернулся и надел мне на шею крест. – Хорошо молись, день сегодня особый. В Пресвятой Троице Бог близок к нам втройне.

Он перекрестил меня, и мы отправились на свое место. Зинаида выглядела утешенной, а я испытывала разные противоречивые чувства, главное из которых – смущение. Батюшка мне понравился, только что с того. Я не нехристь какая-нибудь, но я человек неверующий. Я со всем уважением к вере предков, и именно поэтому не собираюсь вживаться в несвойственную мне роль. Вера – не предмет для самообмана и актерства. Раньше мне и в голову не пришло бы воображать себя или представляться верующей, а теперь я послушно стояла, крестилась, когда

все крестились, и ненадолго даже ощутила свою общность с народом, со всем православным миром и испытала радостное, волнующее чувство.

Думаю, отстоять обычную службу мне было бы не по силам, а Троицкая, как выяснилось, необычная, она – двойная. После одной – другая да еще с какими-то молитвами на коленях. В общем, когда любопытство было исчерпано, пришла усталость. Я потихоньку скользнула за квадратный столб, просочилась сквозь людскую массу в направлении выхода и оказалась на крыльце. Нищие тоже были здесь – на своем посту, а поскольку дать им было нечего, я подверглась всяким оскорблениям и не только словесным. Один кретин в лохмотьях плюнул мне вслед. Собаки присоединились и облаяли. Я дала оттуда деру и по-настоящему свободно вздохнула только за оградой, а тогда пошла налево, к Фонтанке.

Фонтанка наполнена всякого рода судами и суденышками, груженными дровами, мешками и бочками. На другом берегу, поодаль, синие купола Измайловского Троицкого собора. Египетский мост опознала только по чугунным фигурам сфинксов, во всем остальном он совершенно не похож на тот, что я знала. Этот – цепной, висячий, с двух сторон высокие чугунные ворота, украшенные египетскими иероглифами. Видимо, переделали его и убрали ворота после того, как по нему прошел конногвардейский эскадрон, и мост рухнул. Считалось, что ритмичный топот вызвал резонанс в конструкции моста, вот он и обрушился, об этом писалось даже в школьных учебниках физики, а потом стали говорить, будто никакого резонанса быть не могло, потому что кони не ходят в ногу, а мост обрушился из-за ошибок, допущенных при проектировании, не выдержал большой тяжести людей и коней. Только я не помню, когда это было? А вернее, когда это будет? Через десять, двадцать, тридцать лет или завтра?

Гуляла долго, заглянула в церковь, а там все в полном разгаре. Пошла домой и как-то незаметно заснула, а Зинаиде потом сказала, что голова разболелась, потому и ушла.

После службы все были благостные. Притащили домой березовые ветки, с которыми ходили в церковь, повесили в кухне сушить. Утверждали, будто потом можно заваривать весь год от любых болезней.

На торжественный обед пришел доктор Нус с мальчишкой-помощником. Я думала, ему лет семнадцать, а выяснилось – двадцать два. Мерзкий тип, в прыщах, улыбка глумливая, за столом помалкивал, но смотрел на меня масляными глазками, как похотливый старик. Серафима его за глаза Помоганцем зовет. Помоганец-поганец.

Через неделю начнется Петровский пост, так что ели с удовольствием, впрок. Особенно Анелька старалась, так что Зинаида порекомендовала ей не налегать на еду.

– Жалко тебе, что ли? – спросила Серафима. Лицо у нее было распаренным, мне показалось, она уже хлебнула из заветного штофика.

– Ничуть не жалко, только скоро она в платья не влезет. Хоть у Афанасия Андреича спросите, обжорство не полезно.

– Все полезно, что в рот полезло, – буркнула Серафима.

– Умеренность – добрая привычка, – отозвался доктор Нус, неожиданно рыгнул, засмеялся и сказал: – Прошу прощения. Душа с Богом беседует.

– Что за непотребство вы говорите в праздник! – возмутилась Серафима и глянула на меня волком, потому что я хихикнула вслед за доктором.

– В Троицу нельзя ссориться и ругаться, – тихонько вякнула Анелька, но Серафима и на нее шикнула, а когда доктор ушел, сварливо заметила:

– Афанасий Андреич, как разбогател, так стал совсем невозможен. Только откуда его богатство? На пиявках сильно не разживешься.

– Вы прекрасно знаете, откуда, – сердито сказала Зинаида. – Дядюшкино наследство!

– Ни про какого дядюшку мы раньше не слыхали!

– Афанасий Андреич и сам не слыхал.

– Так какое же это должно быть наследство, чтоб дом такой отгрохать с расписным потолком, конюшни, занавески с золотой бахромой? Погоди, он еще и женится. – Серафима прямо слюной брызгала от злости.

– А коли женится, так и слава богу! – совсем рассердилась Зинаида. – Он еще не старик.

Доктор в бакулаевском доме не был чужим. Его отцу, денщику, генерал Бакулаев был обязан жизнью. Не знаю, как денщик спас генерала, но сам он погиб, а генерал не оставил своим попечением вдову и сына Афанасия, а когда вдова скончалась, продолжал заботился о сыне и выучил его. Доктор Нус закончил медико-хирургическую академию, бывал на фронтах, а теперь занимался частной практикой и, судя по всему, очень успешно. Мать Зинаиды любила его и привечала, она и умерла у него на руках. Так что, возможно, для Зинаиды он был ближе и родственнее, чем тетка.

– Маменька порадовалась бы, как идут его дела, – сказала Зинаида.

Все разошлись по своим углам, одна Анелька сидела с печальным видом на подоконнике в гостиной.

– Скучно здесь, – пожаловалась она. – Дома мы на Троицу венки заплетали. А если поссоришься, через венок нужно поцеловаться. А еще гадали: венки по речке пускали. У меня венок никогда не тонул, но и не плыл, к берегу приставал. Но я тогда дитем была, замуж не спешила.

– Ты теперь спешишь? Зачем?

– Чтобы весело было. Буду ездить на гулянья. Вот сегодня все гуляют, в Екатерингофе оркестры, воздушные шары с бенгальскими огнями, а у нас тоска смертная. Выйду замуж, буду веселиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.